

Василий Шукшин Рассказы

Чередниченко и цирк

В южный курортный городок приехал цирк.

Плановик Чередниченко отдыхал в том городке, устроился славно, чувствовал себя вольготно, даже слегка обнаглел – делал выговор продавщицам за теплое пиво. В субботу вечером Чередниченко был в цирке.

На следующий день, в воскресенье, в цирке давали три представления, и Чередниченко ходил на все три.

Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки, тревожился, когда молодой паренек в красной рубашке гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, семь страшных львов, стегал их бичом... Но не ради клоуна и не ради страшных львов ухлопал Чередниченко шесть рублей, нет, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая открывала программу. Она взбиралась по веревке высоко вверх и там под музыку крутилась, вертелась, кувыркалась...

Никогда еще в своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновался, наблюдая за гибкой, смелой циркачкой. Он полюбил ее. Чередниченко был холост, хоть разменял уже пятый десяток. То есть он был когда-то женат, но что-то такое получилось у них с женой – разошлись. Давно это было, но с тех пор Чередниченко стал – не то что презирать женщин, – стал спокоен и даже несколько насмешлив с ними. Он был человек самолюбивый и честолюбивый, знал, что к пятидесяти годам станет заместителем директора небольшой мебельной фабрики, где теперь работал плановиком. Или, на худой конец, директором совхоза. Он заканчивал сельхозинститут заочно и терпеливо ждал. У него была отличная репутация... Время работало на него. "Буду замдиректора, будет все – и жена в том числе".

В ночь с субботы на воскресенье Чередниченко долго не мог заснуть, курил, ворочался... Забывался в полусне, и мерещилось черт знает что – маски какие-то, звучала медная музыка циркового оркестрика, рычали львы... Чередниченко просыпался, вспоминая циркачку, и сердце болело, ныло, точно циркачка была уже его женой и изменяла ему с вертлявым клоуном.

В воскресенье циркачка доконала плановика. Он узнал у служителя цирка, который не пускал посторонних к артистам и львам, что та циркачка – из Молдавии, зовут Ева, получает сто десять рублей, двадцать шесть лет, не замужем.

С последнего представления Чередниченко ушел, выпил в ларьке два стакана красного вина и пошел к Еве. Дал служителю два рубля, тот рассказал, как найти Еву. Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то веревках, ремнях, тросах... Остановил какую-то женщину, та сказала, что Ева ушла домой, а где живет, она не знала. Знала только, что где-то на частной квартире, не в гостинице. Чередниченко дал служителю еще рубль, попросил, чтобы он узнал у администратора адрес Евы. Служитель узнал адрес. Чередниченко выпил еще стакан вина и пошел к Еве на квартиру. "Адам пошел к Еве", – пошутил сам с собой Чередниченко. Он был человек не очень решительный, знал это и сознательно подгонял себя куда-то в гору, в гору, на улицу Жданова – так, ему сказали, надо идти. Ева устала в тот день, готовилась ко сну.

– Здравствуйте! – приветствовал ее Чередниченко, ставя на стол бутылку "Кокура". Он за дорогу накрутил себе хвоста – заявился смелый и решительный. – Чередниченко Николай Петрович. Плановик. А вас зовут Ева. Правильно?

Ева была немало удивлена. Обычно поклонники ее не баловали. Из всей их труппы поклонники осаждали троих-четверых: смуглого клоуна, наездницу и – реже – сестер Геликановых, силовых акробатов.

– Я не помешал?

- Вообще-то, я спать готовлюсь... Устала сегодня. А что? Я немножко не понимаю...
- Да, сегодня у вас денек... Скажите, а вот этот оркестр ваш, он не мешает вам?
- Нет.
- Я бы все-таки несколько поубавил его: на нервы действует. Очень громко, куда к шутам...
- Нам ничего... Привыкли.
- Чередниченко отметил, что вблизи циркачка не такая уж красавица, и это придало ему храбрости. Он серьезно задумал отвезти циркачку к себе домой, жениться.
- Что она была циркачкой, они скроют, никто знать не будет.
- Вы не позволите предложить вам?...– Чередниченко взялся за бутылку.
- Нет, нет,– твердо сказала Ева.– Не пью.
- Совсем?
- Совсем.
- Нисколько-нисколько?
- Нисколько.
- Чередниченко оставил бутылку в покое.
- Проба пера,– к чему-то сказал он.– Я сам выпиваю очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор... Допивается до того, что опохмелиться утром рубля нет. Идет чуть свет в одних тапочках, стучит в ворота. У меня отдельный дом из четырех комнат, ну, калитку, естественно, на ночь закрываю на замок, "Николай Петрович, дай рубль".– "Василий,– говорю,– Мартыныч, дорогой, не рубля жалко – тебя жалко. Ведь на тебя смотреть тяжело – с высшим образованием человек, талантливый инженер, говорят... До чего же ты себя доведешь!"
- Но рубль-то даете?
- А куда денешься? Он, вообще-то, всегда отдает. Но действительно, не денег этих жалко, я достаточно зарабатываю, у меня оклад сто шестьдесят рублей да премиальные... вообще, находим способы. Не в рубле дело, естественно. Просто тяжело глядеть на человека. В чем есть, в том и в магазин идет... Люди смотрят... У меня у самого скоро высшее образование будет – это же должно как-то обязывать, так я понимаю. У вас высшее?
- Училище.
- Мгм.– Чередниченко не понял – высшее это или не высшее. Впрочем, ему было все равно. По мере того как он излагал сведения о себе, он все больше убеждался, что тут не надо долго трясти кудрями – надо переходить к делу. А родители у вас есть?
- Есть. Зачем вам все это?
- Может быть, все-таки пригубите? С наперсток?... Мм? А то мне неловко одному.
- Наливайте – с наперсток.
- Выпили. Чередниченко выпил полстаканчика. "Не перебрать бы",– подумал.
- Видите ли, в чем дело, Ева... Ева?..
- Игнатьевна.
- Ева Игнатьевна.– Чередниченко встал и начал ходить по крошечной комнате – шаг к окну, два шага к двери и обратно.– Сколько вы получаете?
- Мне хватает,
- Допустим. Но в один прекрасный... простите, как раз наоборот – в один какой-нибудь трагичный день вы упадете оттуда и разобьетесь...
- Слушайте, вы...
- Нет, послушайте вы, голубушка, я все это прекрасно видел и знаю, чем все это кончится – эти аплодисменты, цветы...– Ужасно понравилось Чередниченко вот так вот ходить по комнатке и спокойно, убедительно доказывать: нет, голубушка, ты еще не знаешь жизни. А мы ее, матушку, как-нибудь изучили – со всех сторон. Вот кого ему не хватало в жизни – такой вот Евы – Кому вы потом будете нужна? Ни-ко-му.
- Зачем вы пришли? И кто вам дал адрес?
- Ева Игнатьевна, я буду с вами напрямик – такой характер. Я человек одинокий,

положение в обществе занимаю хорошее, оклад, я вам уже сказал, до двухсот в целом. Вы тоже одиноки... Я второй день наблюдаю за вами – вам надо уходить из цирка. Знаете, сколько вы будете получать по инвалидности? Могу прикинуть...

– Вы что? – спросила Ева Игнатьевна.

– У меня большой дом из лиственницы... Но я в нем один. Нужна хозяйка... То есть нужен друг, нужно кому-то согреть этот дом. Я хочу, чтобы в этом доме зазвенели детские голоса, чтобы в нем поселился мир и покой. У меня четыре с половиной тысячи на книжке, сад, огород... Правда, небольшой, но есть где отвести душу, покопаться для отдыха. Я сам из деревни, люблю в земле копаться. Я понимаю, что говорю несколько в резонанс с вашим искусством, но, Ева Игнатьевна... поверьте мне; это же не жизнь, как вы живете. Сегодня здесь, завтра там... ютитесь вот в таких комнатухах, питаетесь тоже... где всухомятку, где на ходу. А годы идут...

– Вы что, сватаете меня, что ли? – никак не могла понять циркачка.

– Да, я предлагаю вам поехать со мной.

Ева Игнатьевна засмеялась.

– Хорошо! – воскликнул Чередниченко. – Не надо мне верить на слово. Хорошо. Возьмите на неделю отпуск за свой счет, поедemте со мной – посмотрите. Посмотрите, поговорите с соседями, сходите на работу... Если я хоть в чем-нибудь обманул вас, я беру свои слова назад. Расходы – туда и обратно – беру на себя. Согласны?

Ева Игнатьевна долго, весело смотрела на Чередниченко. Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял ее взгляд... Ему нравилось, как он действует: деловито, обстоятельно и честно.

– Мне сорок второй год, забыл вам сказать. Кончаю сельхозинститут заочно. Родни мало осталось, никто докучать не будет. Подумайте, Ева. Я не с бухты-барухты явился к вам... Не умею я говорить красивые слова, но жить будем душа в душу. Я уже не мальчишка, мне теперь – спокойно трудиться и воспитывать детей. Обещаю окружить вас заботой и вниманием. Ведь надоела вам эта бездомная жизнь, эта багема...

– Богема.

– А?

– Бо-ге-ма. Через "о",

– Ну, какая разница? Суть-то одна. Разная, так сказать, по форме, но одинаковая по содержанию. Мне хочется уберечь вас от такой жизни, хочется помочь... начать жизнь морально и физически здоровую. – Чередниченко сам проникнулся к себе уважением – за высокое, хоть негромкое благородство, за честность, за трезвый, умный взгляд на жизнь свою и чужую. Он чувствовал себя свободно. – Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна – помоложе, возможно, поинтересней... Что дальше? Вот так вот кочевать из города в город? О детях уже говорить не приходится! Им что!.. Чередниченко имел в виду зрителей. – Посмеялись и разошлись по домам – к своим очагам. Они все кому-то нужны, вы – снова в такую вот, извините, дыру – никому вы больше не нужны. Устали вы греться у чужого огня! (Эту фразу он заготовил заранее.) Я цитирую. И если вы ищете сердце, которое бы согрело вас, – вот оно. – Чередниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не заплакал от нахлынувших чувств и от "Кокура". Долго было бы рассказывать, какие это были чувства... Было умиление, было чувство превосходства и озабоченности сильным, герой, и жертва, и учитель жили в эти минуты в одном Чередниченко. Каким-то особым высшим чутьем угадал он, что больше так нельзя, дальше будет хуже или то же самое... Надо уходить. – Не буду больше утомлять вас – ухожу. Ночь вам на размышления. Завтра вы оставите записку вашему служителю... такой, с бородавкой, в шляпе...

– Знаю.

– Вот, оставьте ему записку – где мы встретимся.

– Хорошо, оставлю.

Чередниченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыбнулся, ласково и ободряюще тронул ее за плечо:

– Спокойной... простите, наоборот, – беспокойной ночушки.

Циркачка тоже улыбалась:

– До свидания.

"Не красавица, но очень, очень миловидная, – подумал Чередниченко. Эти усики на губе, черт их возьми).. пушочек такой... в этом что-то есть. Говорят -темпераментные".

Чередниченко вышел на улицу, долго шел какими-то полутемными переулками – наугад. Усмехался, довольный. "Лихо работаешь, мужик, – думал о себе. Раз-два – и в дамки".

Потом, когда вышел на освещенную улицу, когда вдосталь налюбовался собой, своей решительностью (она просто изумила его сегодня, эта решительность), он вдруг ни с того ни с сего подумал: "Да, но как-то все ужасно легко получилось. Как-то уж очень... Черт ее знает, конечно, но не оказаться бы в дурацком положении. Может, она у них на самом плохом счету, может, ее... это... того... Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы узнал сперва!" С одной стороны, его обрадовало, что он с таким блеском сработал, с другой... очень вдруг обеспокоила легкость, с какой завоевалось сердце женщины. То обстоятельство, что он, оказывается, умеет действовать, если потребуется, навело его на мысль: а не лучше ли – с такой-то напористостью – развернуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины... не циркачки. Есть одна учительница, вдова, красавица, степенная, на хорошем счету. Почему, спрашивается, так же вот не прийти к ней вечером и не выложить все напрямик, как сегодня? Ведь думал он об этой учительнице, думал, но страшился. А чего страшился? Чего страшиться-то?

"Так-так-так... – Чередниченко прошел вдоль приморской улицы до конца, до порта, повернул назад. Хуже нет, когда в душу вкралось сомнение! Тем-то, видно, и отличаются истинно сильные люди: они не знают сомнений. Чередниченко грызло сомнение. – Скрыть, что она циркачка, конечно, можно, только... А характер-то куда деваешь? Его же не скроешь. Замашки-то циркаческие, они же останутся. Ведь он у нее уже сложился, характер, совершенно определенный, далекий от семейных забот, от материнства, от уюта. Ну, обману я людей, скажу, что она была, допустим, администраторша в гостинице... Но себя-то я не обману! На кой черт себя-то обманывать?! Ведь она, эта преподобная Ева, столько, наверно, видела-перевидела этих Адамов, сколько я в уме не перебрал баб за всю жизнь. Она, наверно, давала жизни... с этим своим пушком на губе. – Уже теперь не сомнение, а раскаяние и злость терзали Чередниченко. Он ходил вдоль приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака, долго ходил, не глазел на встречных женщин, весь ушел в думы. "Так, так, так... Значит, обрадовался – сразу покорил! А она, наверно, счас богу молится: нашелся один дурак, замуж взять хочет. А то – будь она на хорошем счету – не нашелся бы никто до двадцати шести лет! Эка... Вывез Николай Петрович царевну из-за синих морей, елки зеленые! Все с ней: "поматросил да бросил", а один долдон в жены себе определил. А потом выяснится, что она рожать не может. Или хуже: переспит с кем-нибудь, забеременеет, а скажет – от меня. И нечего ее винить, у нее это как алкоголизм: потребность выработалась – обновлять ощущения. А начни потом разводиться, она потребует полдома... Иди доказывай потом судьям, что я ее... с канатов снял. Можно сказать, разгреб кучу-мала и извлек из-под самого низа... сильно помятую драгоценность. Опять вспомнилась Чередниченко вдовая учительница в их городке... И он чуть не взялся за голову: каких глупостей мог наворотить! Ведь вывез бы я эту Еву домой, вывез, она бы мне там устроила парочку концертов, и тогда – завязывай глаза от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок, ай, насмешил! Да приехай ты домой, дурак ты фаршированный, возьми такую же бутылочку винца или лучше коньяку, хороших конфет и иди к учительнице. Поговори обстоятельно, тем более она тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не забулдыга, а на хорошем счету... Поговори с человеком. Ведь умеешь! Ведь скоро диплом в карман положишь – чего же ждатель? Страдатель, елки зеленые!"

Опять долго не мог заснуть Чередниченко – думал о вдовой учительнице. Мысленно жил уже семейной жизнью... Приходил с работы, говорил весело: "Мать-порубать!" Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики, получалось смешно. Ездил на маевку с

женой-учительницей, фотографировал ее... Воровато, в кустах, выпивал с сослуживцами "стремленную", пел в автобусе "Ревела буря, гром гремел...". Думал о детях – как они там с бабкой? Но он – то еще ничего, базланил с мужиками про Ермака, а вот жена-учительница, он видел краем глаза, уже вся давно дома – с детьми, ей уже не до веселья – скорей домой! Да нет, черт побери, можно устроить славную жизнь! Славнецкую жизнь можно устроить.

Он так усладился воображением, что и циркачку вспомнил как далекий неприятный грех. Попробовал посадить на маевке вместо жены-учительницы жену-циркачку... Нет, циркачка там никак не на месте. Чужая она там. Начнет глазами стрелять тудасюда... Нет!

"Как же быть завтра? Не ходить совсем к цирку? Неудобно. Явился, наговорил сорок бочек – и нету. Нет, схожу увижусь... Скажу, что срочно отзывают на работу, телеграмму получил. Уеду – споемся, мол. И все. И постараться не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут".

С тем и заснул Чередниченко. И крепко спал до утра. Во сне ничего не видел. На другой день Чередниченко загорал на пляже... Потом, когда представление в цирке началось, пошел к цирку.

Служитель встретил Чередниченко, как родного брата.

– Вам письмишко! – воскликнул он, улыбаясь шире своей шляпы. И погрозил пальцем: – Только наших не обижа-ать.

Наверно, еще хотел получить трешку.

"Фигу тебе, – подумал Чередниченко. – Жирный будешь. И так харя-то треснет скоро".

Письмецо было положено в конверт, конверт заклеен. Чередниченко не спеша прошел к скамеечке, сел, закурил...

Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка, временами слышался дружный смех: наверно, длинноволосый выкомаривает.

Чередниченко, облокотившись на спинку скамьи, немного посвистел... Конверт держал кончиками пальцев и слегка помахивал им. Поглядеть со стороны, можно подумать, что он, по крайней мере, раза три в неделю получает подобные конверты и они ему даже надоели. Нет, Чередниченко волновался. Немного. Там где-то, внутри, дрожало. Неловко все-таки. Если, положим, ему пришла такая блажь в голову – идти сватать женщину, то при чем здесь сама эта женщина, что должна будет, согласившись, остаться с носом?

Чередниченко вскрыл конверт.

На листке бумаги было написано немного... Чередниченко прочитал. Оглянулся на цирк... Еще раз прочитал. И сказал вслух, негромко, с облегчением:

– Ну вот и хорошо.

На листке было написано:

"Николай Петрович, в сорок лет пора быть умнее. Ева".

А ниже другим почерком – помельче, торопливо: "А орангутанги в Турции есть?"

Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу, засмеялся:

– Хохмач. – Он почему-то решил, что это написал клоун. – Ну, хохмач!.. У меня совесть есть, дорогой мой, совесть. Вам этого не понять.

Чередниченко встал и пошел по улице – в сторону моря. Мысленно отвечал Еве: "Умнее, говоришь? Да как-нибудь постараемся, как-нибудь уж будем стремиться, Игнатий Евович. Все мы хотим быть умными, только находит порой такая вот... Как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот она, проруха, и вышла. Советуешь, значит, быть умнее Николаю Петровичу? Ах, дорогуша ты моя усатая! Хотя, конечно, ты же по веревке умеешь лазить, кому же и советовать, как не тебе – "мне сверху видно все"! Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтоб он с другой какой-нибудь не ушлепал сегодня. А то ушлепает, будешь одна куковать вечер. А тебе вечер просидеть одной никак нельзя. Как же! Жизнь-то дается один раз, тело пока еще гнется, не состарилось. Как же вам можно вечер дома посидеть! Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день урывать – "ловите миг удачи"! Ловите, ловите... Черти крашенные".

Чередниченко опустил конверт в мусорную урну, вышел на набережную, выпил в

ларьке стаканчик сухого вина, сел на лавочку, закурил, положил ногу на ногу и стал смотреть на огромный пароход "Россия". Рядом с ним негромко говорили парень с девушкой.

– Куда-нибудь бы поплыть... Далеко-далеко! Да?

– На таком, наверно, и не чувствуешь, что плывешь. Хотя в открытом море...

"Давайте, давайте – плывите, – машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая разглядывать пароход. – Плывите!.. Молокососы".

Ему было очень хорошо на скамеечке, удобно. Стаканчик "сухаря" приятно согревал грудь. Чередниченко стал тихонько, себе под нос, насвистывать "Амурские волны".

Приезжий

Против председателя сельсовета, боком к столу, утонув в новеньком необъятном кресле (председатель сам очень удивился, когда к нему завезли эти мягкие, пахучие громадины – три штуки! "Прям как бабы хорошие", – сказал он тогда) сидел не старый еще, седой мужчина в прекрасном светлом костюме, худощавый, чуть хмельной, весело отвечал на вопросы.

– Как это? – не мог понять председатель. – Просто – куда глаза глядят?

– Да. Взял подробную карту области, ткнул пальцем – Мякишево. Мгм, Мякишево...

Попробовал на вкус – ладно. Приезжаю, узнаю: речка – Мятла. О господи!.. еще вкуснее. Спрашивается, где же мне отдыхать, как не в Мякишеве, что на речке Мятле?

– Ну, а на юг, например? В санаторий...

– В санаториях – нездорово,

– Вот те раз!..

– Вы бывали?

– Бывал, мне нравится.

– А мне не нравится. Мне нравится, где не подстрижено, не заплывано... Словом, у вас возражений нет, если я отдохну в вашем селе? Паспорт у меня в порядке...

– Не нужен мне ваш паспорт. Отдыхайте на здоровье. Вы что, художник? – Председатель кивнул на этюдник.

– Так, для себя.

– Я понимаю, что не на базар. Для выставки?

Приезжий улыбнулся, и улыбка его вспыхнула ясным золотом вставных зубов.

– Для выставки – это уже не для себя. – Ему нравилось отвечать на вопросы. Наверно, он с удовольствием отвечал бы даже на самые глупые. – Для себя – это в печь.

– Для чего же тогда рисовать?

– Для души. Вот я стою перед деревом, положим, рисую, и понимаю: это глупо. Меня это успокаивает, я отдыхаю. То есть я с удовольствием убеждаюсь, что дерево, которое я возымел желание перенести на картон, никогда не будет деревом...

– Но есть же – умеют.

– Никто не умеет.

"Здорово поддавши, но держится хорошо", – отметил председатель.

– Мда...

– Вы не подскажите, у кого бы я мог пока пожить? Пару недель, не больше.

Председатель подумал... И не заметил, что, пока соображал, успел отметить прекрасный костюм художника, золотые зубы, седину его, умение держаться...

– Пожить-то? Если, допустим, у Синкиных?... Дом большой, люди приветливые... Он у нас главным инженером работает на РТСе... Дом-то как раз над рекой, там прямо с террасы рисовать можно.

– Прекрасно!

– Только, знаете, он насчет этого – не любитель. Выпивает, конечно, по праздникам, а так... это... не любитель.

– Да что вы, бог с вами! – воскликнул приезжий. – Это я ведь так – с дороги... Не побрит вот еще... – А так я ни-ни! Тоже по праздникам: первое января, Первое мая, седьмое ноября, День шахтера, День железнодорожника...

– Ну, это само собой,

– Вы тоже в День железнодорожника?

Председатель засмеялся: ему нравился этот странный человек – наивный, простодушный и очень не глупый,

– У нас свой есть – день борозды. А вы что, железнодорожник?

– Да. Знаете, проектирую безмостовую систему железнодорожного сообщения.

– Как это – безмостовую?

– А так. Вот идет поезд – нормально, по рельсам. Впереди – река. А моста нет. Поезд идет полным ходом...

Председатель пошевелился в кресле:

– Ну?

– Что делает поезд? Он пла-авненько поднимается в воздух, перелетает, приезжий показал рукой, – через реку, снова становится на рельсы и продолжает путь.

Председатель готов посмеяться вместе с приезжим, только ждет, чтобы тот пригласил.

– Представляете, какая экономия? – серьезно спрашивает приезжий.

– Это как же он, простите, перелетает? – Председатель все готов посмеяться и знает, что сейчас они посмеются.

– Воздушная подушка! Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара, вагоны делают то же самое – каждый под себя, – паровоз подает им пар по тормозным шлангам... Весь состав пла-авненько перелетает реченьку...

Председатель засмеялся; приезжий тоже озарил свое продолговатое лицо ясной золотой улыбкой.

– Представляете?

– Представляю. Этак мы через месяц-другой пла-авненько будем в коммунизме.

– Давно бы уж там были! – смеется приезжий. – Но наши бюрократы не утверждают проект.

– Действительно, бюрократы. Проект-то простой. Вы как насчет рыбалки? Не любитель?

– При случае могу посидеть...

– Ну вот, с Синкиным сразу общий язык найдете. Того медом не корми, дай посидеть с удочкой.

Приезжий скоро нашел большой дом Синкина, постучал в ворота,

– Да! – откликнулись со двора. – Входите!.. – В голосе женщины (откликнулась женщина) чувствовалось удивление – видно, здесь не принято было стучать.

Приезжий оторопел... Голос женщины показался ему знакомым. Он вошел... Прямо перед ним на крыльце с тазом в руках стояла женщина... Лет, наверно, пятидесяти, красивая в прошлом, ныне полная – очень. Она тоже оторопела.

– Игорь... – сказала она тихо, с ужасом.

– Вот это да, – тоже тихо сказал приезжий. – Как в кино... – Он пытался улыбаться.

– Ты что?.. Как ты нашел?

– Я не искал.

– Но как же ты нашел?.. Как ты попал сюда?

– Случайность...

– Игорь, господи!..

Женщина говорила негромко. И смотрела, смотрела, не отрываясь, смотрела на мужчину. Тот тоже смотрел на нее, но на лице у него не было и следа насмешливого, иронического выражения.

– Я знала, что ты вернулся... Инга писала...

– Ольга жива? – чувствовалось, что этот вопрос дался мужчине нелегко. Он – или

боялся худого ответа, или так изождался этого момента и так хотел знать хоть что-нибудь – он побледнел. И женщина, заметив это, поспешила:

– Ольга – хорошо, хорошо!.. Она – в аспирантуре. Но, Игорь, она ничего не знает, для нее отец – Синкин... Я ей ничего...

– Понимаю. Синкин дома?

– Нет, но с минуты на минуту может прийти на обед... Игорь!..

– Я уйду, уйду. Ольга красивая?

– Ольга?... Да. У меня еще двое детей. Ольга здесь... на каникулах. Но, Игорь... нужно ли встречаться?

Мужчина прислонился к воротному столбу. Молчал. Женщина ждала. Долго молчали.

– Валя... – Голос мужчины дрогнул, – Я только посмотрю. Я ничем себя не выдам. Клянусь тебе, клянусь, чем хочешь...

– Не в этом дело, Игорь...

– Я был у вашего председателя, он меня направил сюда... к Синкину. Я так и скажу. Потом скажу, что мне не понравилось здесь. Умоляю... Я же только посмотрю!

– Не знаю, Игорь... Она скоро придет. Она на реке. Но, Игорь...

– Клянусь тебе!

– Поздно все возвращать.

– Я не собираюсь возвращать. У меня тоже семья...

– Инга писала, что нету.

– Господи, прошло столько!.. У меня теперь все есть.

– Есть дети?

– Нет, детей нету. Валя, ты же знаешь, я смогу выдержать – я ничего не скажу ей. Я ничего не испорчу. Но ты же должна понять, я не могу... не посмотреть хотя бы. Иначе я просто объявлюсь – скажу ей. – Голос мужчины окреп, он – из беспомощной позы своей (прислоненный к столбу) – вдруг посмотрел зло и решительно, – Неужели ты этого хочешь?

– Хорошо, – сказала женщина. – Хорошо. Я тебе верю, Я тебе всегда верила. Когда ты вернулся?

– В пятьдесят четвертом. Валя, я выдержу эту комедию. Дай, если есть в доме, стакан водки.

– Ты пьешь?

– Нет... Но сил может не хватить. Нет, ты не бойся! – испугался он сам. – Просто так легче. Сил хватит, надо только поддержать. Господи, я счастлив!

– Заходи в дом.

Вошли в дом.

– А где дети?

– В пионерлагере. Они уже в шестом классе. Близнецы, мальчик и девочка.

– Близнецы? Славно.

– У тебя действительно есть семья?

– Нет. То есть была... не получилось.

– Ты работаешь на старом месте?

– Нет, я теперь фотограф.

– фотограф?!

– Художник-фотограф. Не так плохо, как может показаться. Впрочем, не знаю. Не надо об этом. Ты хорошо живешь?

Женщина так посмотрела на мужчину... словно ей неловко было сказать, что она живет хорошо, словно ей надо извиняться за это,

– Хорошо, Игорь. Он очень хороший...

– Ну, и слава богу! Я рад.

– Мне сказали тогда...

– Не надо! – велел мужчина, – Неужели ты можешь подумать, что я стану тебя упрекать или обвинять? Не надо об этом, Я рад за тебя, правду говорю.

- Он очень хороший, увидишь. Он к Ольге...
 - Я рад за тебя!!!
 - Ты пьешь, Игорь,-утвердительно, с сожалением сказала женщина,
 - Иногда, Ольга по какой специальности?
 - ... филолог. Она, по-моему... не знаю, конечно, но, по-моему, она очень талантлива. Очень!
 - Я рад,– еще сказал мужчина. Но вяло как-то сказал. Он как-то устал вдруг.
 - Соберись, Игорь.
 - Все будет в порядке. Не бойся.
 - Может быть, ты пока побрееешься? У тебя есть чем?
 - Есть, конечно! – Мужчина, вроде опять повеселел.– Это ты верно. Розетка есть?
 - Вот.
- Мужчина раскрыл чемодан, наладил электробритву и только стал бриться...
- Пришел Синкин. Упитанный, радушный, очень подвижный, несколько шумный.
- Представились друг другу. Приезжий объяснил, что он зашел к председателю сельсовета, и тот...
- И правильно сделал, что послал ко мне! – громко похвалил Синкин. Вы не рыбак?
 - При случае и при хорошем клеве.
 - Случай я вам обеспечу. Хороший клев – не знаю. Мало рыбешки стало, мало. На больших реках – там на загрязнении жалуются, у нас плотины все перепутали...
 - У вас – плотины? Откуда?
 - Да не у нас – внизу. Но образовались же целые моря!.. и она, милая, подалась от нас на новые, так сказать, земли. Залиты же тысячи гектаров, там ей корма на десять лет невпроворот.
 - Тоже проблема: почему рыба из малых рек уходит в новые большие водоемы?
 - Проблема! А как вы думаете?.. Еще какая. У нас тут были целые рыболовецкие артели – крышка. Распускать. А у людей – образ жизни сложился, профессия...
 - Назовите это: рыба уходит на новостройки и дело с концом.
- Мужчины посмеялись.
- Мама, что-нибудь насчет обеда слышно?
 - Обед готов. Садитесь.
 - Вы здесь хорошо отдохнете, не пожалеете,– говорил Синкин, усаживаясь за стол и приветливо глядя на гостя.– Я сам не очень уважаю всякие эти курорты, приходится – из-за супруги вон.
 - Из-за детей,– уточнила супруга.
 - Из-за детей, да. Мама, у нас есть чего-нибудь выпить?
 - Тебе не нужно больше идти?
 - Нужно, но – ехать. И далеко. Пока доеду, из меня вся эта, так сказать, дурь выйдет.
- Давай! Не возражаете?
- Нет.
 - Давай, мать! Нет, отдохнете здесь славно, ручаюсь. У нас хорошо.
 - Не ручайся, Коля, человеку, может, не понравится.
 - Понравится!
 - Вы здешний? – спросил приезжий хозяина.
 - Здешний. Не из этого села, правда, но здесь – из этих краев. А где Ольга?
 - На реке.
 - Что же она – к обеду-то?
 - А то ты не знаешь Ольгу! Набрала с собой кучу книг... Да придет, куда она денется.
 - Старшая,– пояснил хозяин.– Грызет гранит науки. Уважаю теперешнюю молодежь, честное слово. Ваше здоровье!
 - Спасибо.
 - Мы ведь как учились?.. Кхах! Мамочка, у тебя где-то грузочки были.

- Ты же не любишь в маринаде.
- Я – нет, а вот Игорь Александрович попробует. Местного, так сказать, производства. Попробуйте. Головой понимаю, что это, должно быть, вкусно, а – что сделаешь? – не принимает душа маринад. В деревне вырос – давай все соленое. Подай, мама.
- Так что там – про молодежь?
- Молодежь? Да... Вот ругают их-такие-сякие, нехорошие, а мне они нравятся, честное слово. Знают много. Ведь мы как учились?.. У вас высшее?
- Высшее.
- Ну, примерно в те же годы учились, знаете, как это было: тоже – давай! давай! Двигатель внутреннего сгорания?–изучай быстрее и не прыгай больше. Пока хватит – некогда. Теперешние – это совсем другое дело. Я чувствую: старшей со мной скучно. Я, например, не знаю, что такое импрессионизм, и она, чувствую, смотрит сквозь меня...
- Выдумываешь, Николай,– встряла женщина.– У тебя – одно, у ней – другое. Заговори с ней о своих комбайнах, ей тоже скучно станет.
- Да нет, она-то как раз... Она вот тут на днях мне хоро-о-шую лекцию закатила. Просто хорошую! Про нашего брата, инженерию... Вы знаете такого – Гарина-Михайловского? Слышали?
- Слышал.
- Вот, а я, на беду свою, не слышал. Ну, и влетело. Он что, действительно, и мосты строил, и книги писал?
- Да вы небось читали, забыли только...
- Нет, она называла его книги – не читал. Вы художник?
- Что-то вроде этого. Сюда, правда, приехал пописать. Тире – отдохнуть. Мне у вас очень понравилось.
- У нас хорошо!
- У нас тоже хорошо, но у вас еще лучше.
- Вы откуда?
- Из Н-ска.
- Я там, кстати, учился.
- Нет, у вас просто здорово!
- Женщина с тревогой посмотрела на гостя. Но тот как будто даже протрезвел. И на лице у него опять появилось ироническое выражение, и улыбка все чаще вспыхивала на лице – добрая, ясная.
- У нас, главное,– воздух. Мы же – пятьсот двадцать над уровнем моря, рассказывал хозяин.
- Нет, мы значительно ниже. Хотя у нас тоже неплохо. Но у вас!.. У вас очень хорошо!
- Причем учтите: здесь преобладают юго-восточные ветры, а там – никаких промышленных предприятий.
- Да нет, что там говорить! Я, правда, предпочитаю северо-восточные ветры, но юго-восточные – это великолепно, И там никаких промышленных предприятий?
- А откуда? Там же... эти...
- Нет, это великолепно! А как у вас с текущим ремонтом?
- Хозяин засмеялся:
- Во-он вы куда!.. Нет, тут сложнее. Могу только сказать: юго-восточные ветры на текущий ремонт влияния не оказывают. К сожалению.
- А вал? Собственно говоря, как с валом?
- Вал помаленьку проворачиваем... Скрипим тоже.
- Вот это плохо.
- Я вам так скажу, дорогой товарищ, если вы этим интересуетесь..,
- Коля, за тобой заедут? А то будут ждать...
- Козлов заедет. Если вы уж этим заинтересовались...
- Коля, ну кому это интересно – текущий ремонт, вал?

– Но товарищ же спрашивает,
– Товарищ... просто поддерживает беседу, а ты на полном серьезе взялся... Не будет же он с тобой об импрессионистах говорить, раз ты ничего в этом не понимаешь.

– Не на одних импрессионистах мир держится.

– Не перевариваю импрессионистов, – заметил гость. – Крикливый народ. Нет, вал меня действительно очень интересуется,

– Так вот, если вам это...

– Ольга идет.

Гость, если бы за ним в это время наблюдать, заволновался. Привстал было, чтобы посмотреть в окно, сел, взял вилку, повертел в руках... положил. Закурил, Взял было рюмку, посмотрел на нее, поставил на место. Уставился на дверь,

Вошла рослая, крепкая, юная женщина. Она, как видно, искупалась, и к ее влажному еще телу местами прилипло легкое ситцевое платье, и это подчеркивало, сколь сильно, крепко, здорово это тело.

– Здравствуйте! – громко сказала женщина.

– Оля, у нас гость – художник, – поспешила представить мать, – Приехал поработать, отдохнуть... Игорь Александрович,

Игорь Александрович поднялся, серьезно, пристально глядя на молодую женщину, пошел знакомиться.

– Игорь Александрович.

– Ольга Николаевна.

– Игоревна, – поправил гость.

– Игорь!.. Игорь Александрович! – воскликнула хозяйка.

– Я не поняла, – сказала Ольга.

– Твое отчество – Игоревна. Я твой отец. В сорок третьем году я был репрессирован. Тебе было... полтора года.

Ольга широко открытыми глазами смотрела на гостя... отца?

С этой минуты в большом, уютном доме Синкиных на какое-то время хозяином сделался... гость. У него появилась откуда-то твердость, трезвость, И он совсем не походил на того беспечного, ироничного, веселого, каким только что был. Долго все молчали.

– Игорь... – прерывающимся голосом, отчаянно заговорила хозяйка, – ты нашел! Ты сказал-это случайность... Нет, ты нашел! Это жестоко,

– Нашел, да. Я искал много лет. Случайность с домом... Синкина.

– Но это жестоко, Игорь, жестоко!..

– Неужели не жестоко – при живом отце... даже не позволить знать о нем. Вы считаете, это было правильно? – повернулся Игорь Александрович к Синкину.

Тот почему-то почувствовал себя оскорбленным.

– Сорок третий год – это не тридцать седьмой! – резко сказал он. – Еще не известно...

– Нет, в плену я не был. При мне – все мои документы, партийный билет и все ордена. Предателям этого не возвращают. Но речь о другом... Ольга: прав я или не прав, что нашел тебя?

Ольга все еще не пришла в себя... Она села на стул. И во все глаза смотрела на родного отца.

– Я ничего не понимаю...

– Ты клялся, Игорь!.. – стонала хозяйка. – Как это жестоко!

– Ольга... – Игорь Александрович смотрел на дочь требовательно. И вместе – умоляюще, – Я ничего не прошу, не требую... Я хочу знать: прав я или нет? Я не мог жить иначе. Я помню тебя маленькой, и этот образ преследовал меня... Мучил. Я слаб здоровьем. Я не мог умереть, не увидев тебя... такой.

– Ольга, он пьет! – воскликнула вдруг хозяйка. – Он – пьющий! Он – опустившийся...

– Прекрати! – Синкин с силой ударил кулаком по столу. – Прекрати так говорить! Хозяйка заплакала.

– Вы хотите, чтобы я сказала свое слово? – поднялась Ольга.

Все повернулись к ней.

– Уходите отсюда. Совсем.– Она смотрела на отца.

Судя по тому, как удивлены были мать и отчим, они ее такой еще не видели. Не знали, Игорь Александрович сник, плечи опустились... Он вдруг постарел на глазах.

– Оля...

– Немедленно,

– Боже мой! – только и сказал гость. И еще раз, тихо: – Боже мой. Подошел к столу, дрожащей рукой взял рюмку водки, выпил. Взял свой чемодан, этюдник... Все это он проделал в полной тишине. Слышно было, как ветка березы чуть касалась верхнего стекла окна – трогала.

Гость остановился на пороге:

– Почему же так, Оля?

– Тебе все объяснили, Игорь! – жестко сказала хозяйка. Она перестала плакать.

– Почему так, Оля?

– Так надо. Уезжайте из села. Совсем.

– Подождите, нельзя же так... – начал было Синкин, но Ольга оборвала его:

– Папа, помолчи.

– Но зачем же гнать человека?!

– Помолчи! Я прошу.

Игорь Александрович вышел... Вслепую толкнул ворота... Оказалось – надо на себя. Он взял в одну руку чемодан и этюдник, открыл ворота. Этюдник выпал из руки, посыпались кисти, тюбики с краской. Игорь Александрович подобрал, что не откатилось далеко, кое-как затолкал в ящичек, закрыл его. И пошел по улице – в сторону автобусной остановки.

Погода стояла редкостная – ясно, тепло, тихо. Из-за плетней смотрели круглолицые подсолнухи, в горячей пыли дороги купались воробьи – никого вокруг, ни одного человека.

– Как тихо, – сказал сам себе Игорь Александрович, – Поразительно тихо. – Он где-то научился говорить сам с собой. – Если бы однажды так вот – в такой тишине – перешагнуть незаметно эту проклятую черту... И оставить бы здесь все боли, и все желания, и шагать, и шагать по горячей дороге, шагать и шагать – бесконечно. Может, мы так и делаем? Возможно, что я где-то когда-то уже перешагнул в тишине эту черту – не заметил – и теперь вовсе не я, а моя душа вышагивает по дороге на двух ногах. И болит. Но почему же тогда болит? Пожалуйся, пожалуйся... Старый осел. Я шагаю, я-собственной персоной. Несу чемодан и этюдник. Глупо! Господи, как глупо и больно!

Он не замечал, что торопится. Как будто и в самом деле скорей хотел где-то на дороге, за невидимой чертой, оставить едкую боль, которая железными когтями рвала сердце. Он торопился в чайную, что на краю села, у автобусной остановки. Он знал, что донесет туда свою боль и там слегка оглушит ее стаканом водки. Он старался ни о чем не думать – о дочери. Красивая, да. С характером. Замечательно. Замечательно... Потом он в такт своим шагам стал приговаривать:

– За-ме-ча-тель-но! За-ме-ча-тель-но! За-ме-ча-тель-но!

Мысли, мысли – вот что мучает человека. Если бы, к примеру, получил боль – и в лес: травку искать, травку, травку – от боли.

На автобусной станции, возле чайной, его ждала дочь Ольга. Она знала путь короче – опередила, Она взяла его за руку, отвела в сторону – от людей.

– Хотел выпить?

– Да. – Сердце у Игоря Александровича сдваивало.

– Не надо, папа. Я всегда знала, что ты есть – живой. Никто мне об этом не говорил... я сама знала. Давно знала. Не знаю, почему я так знала...

– Почему ты меня прогнала?

– Ты мне показался жалким. Стал говорить, что у тебя документы, ордена...

– Но они могут подумать...

– Я, я не могла подумать! – с силой сказала Ольга. – Я всю жизнь знала тебя, видела тебя во сне-ты был сильный, красивый...

– Нет, Оля, я не сильный. А вот ты красива – я рад. Я буду тобой гордиться.

– Где ты живешь?

– Там же, где жила... твоя мать. И ты. Я рад, Ольга! – Игорь Александрович закусил нижнюю губу и сильно потер пальцем переносицу – чтоб не заплакать.

И заплакал.

– Я пришла сказать тебе, что теперь я буду с тобой, папа. Не надо плакать, перестань. Я не хотела, чтоб ты там унижался... Ты пойми меня.

– Я понимаю, понимаю, – кивал головой Игорь Александрович. – Понимаю, дочь...

– Ты одинок, папа. Теперь ты не будешь одинок.

– Ты сильная, Ольга. Вот ты – сильная. И красивая... Как хорошо, что так случилось... что ты пришла. Спасибо.

– Потом, когда ты уедешь, я, наверно, пойму, что я – рада. Сейчас я только понимаю, что я тебе нужна. Но в груди – пусто. Ты хочешь выпить?

– Если тебе это неприятно, я не стану.

– Выпей. Выпей и уезжай. Я приеду к тебе. Пойдем, выпей...

Через десять минут синий автобус, посадив у остановки "Мякишево" пассажиров, катил по хорошему проселку в сторону райцентра, где железнодорожная станция.

У открытого окна, пристроив у ног чемодан и этюдник, сидел седой человек в светлом костюме. Он плакал. А чтобы этого никто не видел, он высунул голову в окно и незаметно – краем рукава – вытирал слезы.

В профиль и анфас

На скамейке, у ворот, сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь – вечер, спокойный, с дымками по селу.

На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие толлько на вид слабые, на деле выносливые, как кони.

Парень тяжело вздохнул и стал закуривать.

– Гуляешь? – спросил старик.

– Это не гуляба, дед, – не сразу сказал Иван. – Собачьи слезы, У тебя нет полтора рубля?

– Откуда?

– Башка лопается по швам,

– Как с работой-то?

– Никак. Бери, говорит, вилы да на скотный двор,

– Это кто, директор?

– Ну да. А у меня три специальности в кармане да почти девять классов образования. Ишачь сам, если такой сознательный.

– На сколь отобрали права-то?

– На год. А я выпил-то всего кружку пива! Да красенького стакан, А он придрался... С прошлого года караулил, гад, Я его тогда матом послал, он окрысился...

– Ты уж какой-то... шибко неуживчивый, парень. Надо маленько аккуратней. Чего вот теперь с ими сделаешь? Они – начальство...

– Ну и что?

– Ну и сиди теперь. Три специальности, а будешь сидеть. Где и смолчать надо.

Жгли ботву в огородах – скоро пахать. И каждый год одно и то же, а все не надоест человеку и все вдыхал бы и вдыхал этот горьковатый, прелый запах дыма и талой земли.

– Где и смолчать надо, парень, – повторил старик, глядя на огоньки в огородах. – Наше дело такое.

– Да я особо-то не лаюсь, – неохотно откликнулся Иван. – Если уж прицепится какой...

Главное, я же правила-то не нарушал! – опять горько воскликнул он.– За стакан вина да за кружку пива – на год лишать человека!.. Паразит.

– Заглянь через плетень, моя старуха в огороде?

– Зачем?

– У меня под печкой бутылка самогонки есть. Я б те вынес похмелиться-то.

Иван поспешно встал, заглянул в огород.

– Там,– сказал он,– в дальнем углу. Сюда – ноль внимания.

Старик сходил в дом, принес бутылку самогона и немного батуну. И стакан.

– Что ж ты сразу не сказал? – заторопился Иван.– Сидит помалкивает!..– Он налил стакан и одним духом оглушил.– Я вот такой больше люблю, чем первач. Этот с вонью, как бензин,– долго не будешь раздумывать. Кха!.. Пей. Сразу только.

Старик выпил не торопясь, закусил батуном.

– Как бензин, верно?

– Самогон как самогон. Какой бензин?

– Ну вот! – Иван хлопнул себя ладонью в грудь,– Теперь можно жить. Спасибо, дед. Хошь моих? – Протянул пачку "Памира".

Старик с трудом ухватил негнушимися пальцами сигаретку, помял-помял, посмотрел на нее внимательно, прикурил.

– Петька-то пишет?

– Пишет. Помру я скоро, Иван.

Иван удивленно посмотрел на старика:

– Брось ты!..

– Хошь брось, хошь положижь... на месте будет.– Старик говорил спокойно.

– Болит, што ль, чего?

– Нет. Чую. Тебе столько годов будет, тоже учуешь.

Ивану сделалось хорошо от самогона, не хотелось говорить про смерть.

– Брось! – сказал он.– Поживешь. Гармонь, што ль, принесть?

– Неси.

Иван перешел через дорогу, вошел в дом... И его долго не было. Потом вышел с гармошкой, но опять хмурый.

– Мать, – сказал он. – Жалко вообще-то...

– Все жа ехать хошь?

– Ну а что делать-то? – Иван, видно, только что так говорил с матерью. Не могу же я на этот... Да ну – к черту совсем! Я Северным морским путем прошел... Я моторист, слесарь пятого разряда... Ну ладно, год не буду ездить, но неужели... Да ну – к черту! – Он тронул гармонь, что-то такое попробовал и бросил. Ему стало грустно.– Не везет мне тоже, дед. Крепко. Женился на Дальнем Востоке, так? Родилась дочка... А она делает фортель и уезжает к мамочке в Ленинград. Ты понял? – Он часто рассказывал, как он женился.

– Пошто в Ленинград-то?

– Она на Дальнем Востоке за техникум отработывала. Да мне ее-то – черт с ней, мне дочь жалко. Снится.

– К ей теперь поедешь?

– К жене?! Она второй год замужем... Молодая красивая кыса.

– А куда?

– К корешу одному... На шахты. Может, не на все время. Может, на год...

– На год у вас теперь не получается. Шибко уж легко стали из дому уходить.

– Ну а что я тут буду делать-то?!–опять взвился Иван. – На этот идти, на... Да ну, к черту! – Он развернул гармонь, заиграл и стал подпевать – как-то нарочно весело, зло:

Вот живу я с женщиной,

Ум-па-ра-ра-ра!

А вот уходит женщина

Да от меня.
Напугалась, лапушка?
Кончена игра!..

Старик все так же спокойно слушал.

– Сам сочиняю,– сказал Иван.– На ходу прямо. Могу всю ночь петь.

А мы не будем кланяться -
В профиль и анфас;
В золотой оправушке...

– Баламут ты, Ванька,– сказал старик.– Ну, пошел ба, поработал год на свинарнике...
Мать не жалеешь. Она всю жись и так одна прожила.

Иван перестал играть, долго молчал.

– Не в этом дело, дед. Мне обидно. Что, думаешь, у них не нашлось бы места, где устроить меня? Что им, один лишний слесарь помешает? Я тебя умоляю!.. Директор на меня тоже зуб имеет. Я его дочку пару раз проводил из клуба, он стал опасаться. А там можно опасаться: полудурок. А я трепаться умею... Я б ему сделал подарок. Зря, между прочим, не сделал.

– Чтоб в подоле принесла? Подарок-то?

– Ага. Скромный такой. К Восьмому марта.

– Это вы умеете.

– Вообще грустно, дед. Почему так? Ничего неохота... как это... как свидетель. Я один раз свидетелем был: один другому дал по очкам, у того зрение нарушилось. И вот сижу я на суде и не могу понять: я-то зачем здесь? Самое ж дурацкое дело! Ну, видел – и все. Измучился, пока суд шел.– Иван посмотрел на огоньки в огородах, вздохнул, помолчал.– Так и здесь. Сижу и думаю: "А я при чем здесь?" Суд хоть длинный был, но кончился, и я вышел. А здесь куда выйдешь? Не выйдешь.

– Отсюда одна дорога – на тот свет.

Иван налил в стакан, выпил.

– Нет счастья в жизни,– сказал он и сплюнул.– Тебе налить?

– Будет.

– Вот тебе хорошо было жить?

Старик долго молчал.

– В твои годы я так не думал,– негромко заговорил он.– Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь, наверно, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать,

– А я не знаю, для чего я работаю. Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: "Для чего?" – не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрался... А дальше что? – Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то...

– Заелись,– пояснил старик.

– И ты не знаешь. У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало... Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо.

– Налей-ка,– попросил старик. Выпил, тоже сплюнул.– Сороконожки,вдруг зло сказал он.– Суетитесь на земле – туда-сюда, туда-сюда, а толку никакого. Машин понаделали, а... тьфу! Рак-то, он от чего? От бензина вашего, от угару. Скоро детей рожать разучитесь...

– Не скажи.

– И чувят ведь, что неладно живут, а все хорохорятся, "Разма-ах"! А чего гнусишь тогда?

– Чего эт тебя заело-то? Что дремучими вас назвал? А какие же вы?

– Лодыри вы. Светлые. Вы ведь как нонче: ему, подлецу, за езду рупь двадцать кладут

– можно четыре рубля в день заработать, а он две ездки делает и коней выпрягает. А сам – хоть об лоб поросят бей – здоровый. А мне двадцать пять соток за езду начисляли, и я по пять ездов делал, да на трех, на четырех подводах. Трудодень заработишь, да год ждешь, сколь тебе на его отвалят. А отвалили – шиш с маслом. И вы же ноете: не знаю, для чего робить! Тебе полторы тыщи в месяц неохота заработать, а я за такие-то денюжки все лето горбатился.

– А мне не надо столько денег, – словно подзадоривая старика, сказал Иван. – Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо.

– Не надо, а полтора рубля – похмелиться – нету. Ходишь как побирушка... не надо ему! Мать-то высохла на работе. Черти... Лодыри. Солнышко-то ишо вон где, а они уж с пашни едут. Да на машинах, с песнями!.. Эх... работники. Только по клубам засвистывать, подарки отцам мастерить...

– Нет, уж такой жизни теперь не будет, чтоб... Вообще ты формально прав, но ведь конь тоже работает...

– Позорно ему на свинарнике поработать! А мясо не позорно исть?

– Не поймешь, дед, – вздохнул Иван.

– Где нам!

– Я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать.

Эх, на один желудочек,
На-нина-ни-на...

– пропел он.

Старик усмехнулся:

– Оборот. Жена-то пошто ушла? Пил небось?

– Я не фраер, дед, я был классный флотский специалист. Ушла-то?.. Не знаю. Именно потому, что я не был фраером.

– Кем не был?

– Это так... – Иван поставил гармонь на лавку, закурил, долго молчал. И вдруг не дурашливо, а с какой-то затаенной тревогой, даже болью сказал: – А правда ведь не знаю, зачем живу.

– Жениться надо.

– Удивляюсь. Я же не дурак. Но чем успокоить душу? Чего она у меня просит? Как я этого не пойму!

– Женись, маяться перестанешь. Не до этого будет.

– Нет, тоже не то. Я должен сгорать от любви. А где тут сгоришь!.. Не понимаю; то ли я один такой дурак, то ли все так, но помалкивают... Верить, нет: ночью думаю-думаю – до того плохо станет, хоть кричи. Ну зачем?!

– Тьфу! – Старик покачал головой. – Совсем испортился народишко.

А день тихо умирал, истлевал в теплой сырости. Темней и темней становилось. Огоньки в огородах заблестели ярче. И все острее пахло дымом. Долго еще будут жечь ботву и переговариваться. И голоса будут звучать отчетливо, а шум и возня в деревне будут стихать, И совсем уже темно станет. Огоньки в огородах станут гаснуть, И где-нибудь, совсем близко, звучный мужской голос скажет:

– Ну, пошли, ладно,

Насколько тихо, спокойно и грустно уходит прожитый день, настолько звонко, светло и горласто приходит новый. Петушья орет по селу. Суется люди, торопятся. Опаздывают.

Иван поднялся рано. Посидел на кровати, посмотрел в пол. Плохо было на душе, муторно. Стал одеваться.

Мать топила печку; опять пахло дымом, но только это был иной запах – древесный, сухой, утренний. Когда мать выходила на улицу и открывала дверь, с улицы тянуло свежестью, той свежестью, какая исходит от лужиц, подернутых светлым, как стеклышко,

ледком; от комков земли, окропленных мелким бисером изморози; от вчерашних кострищ в огородах, зола которых седая, и влажная, и тяжелая; от палого листа, который отсырел с весной, но все равно, когда идешь, громко шуршит под ногами.

– Может, я схожу к директору-то, попрошу?.. – заговорила мать.

Иван брился.

– Еще чего! В ноги упади – он довольный будет.

– Ну а как же теперь? – Мать старалась говорить не просительно, как можно убедительней – понимала; разговор, наверно, последний. – Ходят люди, просят. Язык-то не отсохнет...

– Я ходил. Просил.

– Да знаю я тебя, тугоносого, как ты просил! Лаяться только умеете...

– Хватит, мам.

Мать больше не выдержала, села на приступку и заплакала тихонько и запричитала:

– Куда вот собрался? К черту на кулички... То ли уж на роду мне написано весь свой век мучиться. Пошто же, сынок, только про себя думаешь?..

Иван знал: будут слезы. И оттого было так плохо на душе, щемило даже, И оттого он хмурился раньше времени.

– Да што ты меня... на войну, што ли, провожаешь? Што я там?.. Да ну, к шутам все! И вечно – слезы!.. Мне уж от этих слез житья нету.

– Сходила ба, попросила – не каменный он, подыскал ба чего-нибудь. А то к инспектору сходи... Што уж сразу так – уезжать. Вон у Кольки Завьялова тоже права отбирали, сходил парень-то, поговорил... С людьми поговорить надо...

– Они уж в милиции, права-то. Поздно.

– Ну в милицию съездил ба...

– Хо-о! – изумился Иван. – Ну ты даешь!

– Господи, господи... Всю жись вот так, И за што мне такая доля злосчастная! Проклятая я, што ли...

Невмоготу становилось, Иван вышел во двор, умылся под рукомойником, постоял в одной майке у ворот... Посмотрел на село. Все он тут знал. И томился здесь, в этих переулках, лунными ночами... А крепости желанной в душе перед дальней дорогой не ощущал. Он не боялся ездить, но нужна крепость в душе и немножко надо веселей уезжать.

Вывернулся откуда-то пес Дик, красивый, но шалавый, кинулся с лаской.

– Ну! – Иван откинул пса, пошел в дом.

Мать накрывала на стол,

– Ну, поработал ба на свинарнике...

Они настойчивые, матери. И беспомощные.

– Ни под каким лозунгом, – твердо сказал Иван. – Вся деревня смеяться будет. Я знаю, для чего он меня хочет на свинарник загнать... Только у него ничего не выйдет,

– Господи, господи...

...Позавтракали.

Мать уложила все в чемодан и тут же села на пол у раскрытого чемодана и опять заплакала. Только не причитала теперь.

– С годок поработаю и приеду. Чего ты?..

Мать вытерла слезы,

– Может, схожу, сынок? – Посмотрела снизу на сына, и из глаз прямо плеснулось горе, и мольба, и надежда, и отчаяние, – Упрошу его... Он хороший мужик.

– Мам... Мне тоже тяжело.

– А может, сунуть кому-нибудь в милиции-то? Што, думаешь, не берут? Счас, не взяли! Колька Завьялов, думаешь, не сунул? Сунул... Счас, отдали так-то.

– Тут неизвестно, кто кому сунет: я им или они мне.

Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда-нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать; "Матушка печь, как ты меня поила и

кормила, так благослови в дорогу дальнюю". Причем всякий раз она напоминала, как надо сказать, хоть Иван давно уж запомнил слова. Иван трижды ткнулся в теплый лоб печки и сказал:

– Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю.

...И пошли по улице; мать, сын и собака.

Ивану не хотелось, чтоб мать провожала его, не хотелось, чтоб люди глазели в окна и говорили: "Ванька-то... уезжает, што ль, куда?"

Попался навстречу дед, с которым они вчера беседовали на сон грядущий. Иван остановился. Он подумал, что, постояв, мать не пойдет дальше, а повернет и уйдет с соседом.

– Поехал?

– Поехал.

Закурили.

– Рыбачил, што ль?

– Попробовал поставить переметишки... Рано ишо.

– Рано,

Мать стояла рядом, сцепив на фартуке руки, не слушала разговор, бездумно, не то задумчиво глядела в ту сторону, куда уезжал сын.

– Не пей там,– посоветовал дед.– Город – он и есть город – чужие все. Пообвыкни сперва...

– Што я, алкаш, што ли?

Еще постояли.

– Ну, с богом! – сказал старик.

– Бывай.

Старик пошел своей дорогой. Иван посмотрел на мать... Она, все так же глядя вперед, пошла, куда им надо идти. Иван пошел рядом.

Прошли немного.

– Мам... иди домой.

Мать послушно остановилась. Иван слегка приобнял ее... Голова ее затряслась у него на груди. Вот этот-то момент и есть самый тяжелый. Надо сейчас оторвать ее от себя, отвернуться и уйти.

– Ладно, мам... Иди. Я сразу письмо напишу. Как приеду, так... Ничего со мной не случится! Не ездют, што ль, люди? Иди.

Мать перекрестила его... И осталась стоять. А Иван уходил. Глупый пес увязался за ним. Он всегда ходил с хозяином на работу.

– Пошел! – сердито сказал Иван.

Дик повилял хвостом и продолжал бежать впереди.

– Дик! Дик! – позвал Иван.

Дик подбежал. Иван больно пнул его, пес заскулил, отбежал в сторону. И с удивлением смотрел на хозяина. Иван обернулся. Дик вильнул хвостом, тронулся было с места, но не побежал, остался стоять. И все так же удивленно смотрел на хозяина. А подальше стояла мать...

"Нет, надо на свете одному жить. Тогда легко будет",– думал Иван, стиснув зубы. И скоро вышагивал по улице – к автобусу.

Беседы при ясной луне

Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась.

– Куда я переквалифицируюсь-то? – горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года.– Легко сказать-переквалифицируйся... Что я, боров, что ли,– с боку на бок переваливаться? – Она поняла это "переквалифицируйся" как шутку, как "перевались на другой бок".

Ну, посмеялись над Марьей... И предложили ей сторожить сельмаг. Марья подумала и согласилась.

И стала она сторожить сельмаг.

И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе – то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении, – все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был человек, никогда не высывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домик оборудовал крестовый... К концу-то огляделись – да он умница, этот Баев! Смотрика, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он – умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него выиграло ретивое – теперь как-то это стало неопасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он – редкого ума человек.

Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье – разговаривать.

Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья: из окон весь сельмаг виден.

В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно. И не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом; а ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные: луну точно на веревке спускали сверху – такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело.) и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете.

В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света – топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали.

И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами – большая и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться.

– Люди, они ведь как – сегодняшним днем живут, – рассуждал Баев. – А жизнь надо всю на прострел брать. Смета!.. – Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками – так и казалось, что он сейчас скажет: "чево?" – Смета! Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чево. В учетном деле и называется – смета. А то ведь как: вот размахнулся на крестовый дом – широко жить собрался, а умишка, глядишь, на-пятистеноч едва-едва, Просадит силенки до тридцати годов, нашумит, наорется, а дальше – пшик. Марья согласно кивала головой.

И правда, казалось, умница Баев, сидячи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь – такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни.

– Больно шустрые! Я как-то лежал в больнице... меня тогда Неверов отвез, председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь?

– Нет. Их тут перебывало...

– Неверов, Василий Ильич. А тогда что, с молокопоставками не управились – ему хоть это.., хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: "Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?" – "Ну-ка", – говорит. "У нас колхозники-то все вытаскали?" – "Вроде все, – говорит. – А что?" Я говорю: "Вы проверьте, проверьте – все вытаскали?"

– Ох, тада и таска-али! – вспомнила Марья. – Бывало, подоишь – и все отнесешь. Ребятишкам по кружке нальешь, остальное – на молоканку. Да ведь планы-то какие были...

безобразные!

– Ты вот слушай! – оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке. – "Все вытаскали-то? Или нет?" Он вызвал девку: "Принеси, – говорит, – сводки". Посмотрели: почти все, ерунда осталась. "Ну вот, – говорит, – почти все". – "Теперь так, – это я-то ему, – давайте рассуждать: госпоставки недостает столько-то, не помню счас сколько, Так? Колхозники свое почти все вытаскали... Где молоко брать?" Он мне: "Ты, говорит, – мне мозги не... того, говори дело!" Матерщинник был несусветный. Я беру счеты в руки: давайте, мол, считать, Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров. – Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью. – Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы такой-то. – Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. – Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже, Понимаешь? Тогда тебе уж не пятьсот литров надо отнести, а пятьсот семьдесят пять, допустим. Сообщила?

Марья не сообщила пока.

– Вот и он тогда так же: хлопает на меня глазами: не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех – будет дополнительное молоко. А вы это молоко, с колхозников-то, как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно провести. Ох, и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь! Я говорю: отвези меня в городскую больницу – полежать. Отвез.

Марья все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то.

– Да господи! – воскликнул Баев. – Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно, – как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня, со счетиками: давайте считать вместе... Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, недоглядел... А я-в горбольнице. С сельской местности-то туда и счас не очень берут. А я вон когда попал!

– А чего?... Заболел, што ли?

– Как тебе сказать... Нет. Недостаток-то у меня был: глаза-то и тогда уж... Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а... как это выразиться... Охота было в горбольнице полежать. Помню, ишо молодой был, а все лумал: как же бы мне устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка возле койки... В палате ишо пять гавриков лежат, у кого что: один с рукой, один с башкой забинтованной, один тракторист лежал – полспины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил туда. Та-ак. Ну, ладно, думаю, желание мое исполняется.

– Дак чего, просто вот полежать, и все? – никак не могла взять в толк Марья.

– Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слышал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил – больше интересуются: "Что болит? Где болит?" Сердце, говорю, болит – иди, доберись до него. Всего обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то: про людей мы заговорили... Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы... Я им по-хорошему: "Здравствуйте, мол, ребята!" И прилег с дороги-то соснуть малость: дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят: "Надо анализы собирать". – "Какие анализы?" – "Калу, – говорят, девятьсот грамм и поту пузырек". Я удивился, конечно, но...

Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется.

– Ну и как? – спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. – Собрал?

– Стали сперва собирать пот, – продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия: он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. – Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели под мышку зажать – туда, мол, пот

будет капать. Ить вот рассудок-то у людей: хворают, называется! Ить подумали бы; идет такая страшная война, их, как механизаторов, на броне пока держут: тут надо прижухнуться и помалкивать, вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать черт те чего. Думает он, лежит, что у него – жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится?.. Что ты! Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается.

Марья вспомнила про девятьсот граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться.

– Дак, а как... с этим-то?.. Собрал, что ли? – Вытерла опять глаза. Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости меня, Николай Ферাপонтыч, шибко смешно. Собрал девятьсот грамм-то?

– Вот то-то и оно – ничего сделать с собой не можем, – обиделся Баев, Живем безалаберно – ничего с собой сделать не можем; пьем-гуляем – ничего с собой сделать не можем; блуд совершаем – опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый: тоже ничего с собой сделать не может. Кобели. Поганки. – Баев по-живому обозлился. – Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихний – да колом бы, колом бы всех бы подряд. Ржать научились? Ногами дрыгать научились?.. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду! Козлы.

Посидели молча. Марья даже вздохнула: у самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась.

– А как вот им поможешь? – сказала она. – И рад бы душой – помочь, а как?

– Никак, – резко сказал Баев. – Пускай сами разбираются, Опять замолчали.

Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями – одной, другой, – поморгал подслеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.

– Помогает глазам-то? – спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.

– Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь.

– Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были,

– Зрячие... – вздохнул Баев. – Все зрячие, да не все умные. – Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво. – Что он, покойный родитель мой, делал со мной – это же ни пером описать, ни... как там говорится?.. Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил. А мне страсть как учиться хотелось. Тада же еще приходская школа-то была,,. Батюшка-то к родителю ходил: способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну! Родителю моему только... Грех поминать нехорошо, но и... тоже... Как я только не просил: в ногах у него валялся, ревмя ревел – отпустите в школу! Закинет пимы на полати, и все. Сиди за печью, гложи ногу овечью – вот весь сказ родительский, Эх-х!.. – Баев еще помолчал горестно: – Дакая, когда все поспут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то – вот уни, глаза-то, и сели.

– Дак, а чего уж он так?

– А спроси его! Не мужицкое дело, мол... Темен был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню: "Прости, Колька, учиться тебе препятствовал..." И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. "Ладно, – говорю, – чего теперь?" Вот как душа затвердела! А потому что – ехидно. Я же какой башковитый-то был! Бывало, стишок два раза прочитаю и тут же его отбарабаню без запинки.

– А понимал же потом-то – вишь, "прости" говорил.

– Да потом-то... Ко мне, бывало, придут: "Напиши, ради Христа, прошение", – или еще чего, ну, курочку несут или яиц десяток, а то шерсти... фунта два... Я сяду – мне плевое дело прошение-то составить: где заострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции... Тут целая наука тоже. Вот составишь. "На, хлопочи, ехай". Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит – чует вину свою. Ну ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы... Ладно. Рази бы тут курочками пахло! Ведь это я самоучкой уж достиг –

счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучи-ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы... не знаю... Эх-х! Ладно.– Баеву правда горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем.– Чего теперь. Обидно, конечно... Ведь вот счас уж дело прошлое – ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки! Ведь меня ревизором в другие районы посылали! Еду, бывало, и думаю: знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один: церковноприходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня – на других ревизором! Молчал уж...

– А ведь вот дал же бог такое стремление – учиться! – неподдельно уважительно заметила Марья.– Откуда бы такое стремление?

– Наблюдательность,– пояснил Баев.– Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Еще карапуз был, а, бывало, зайду по колени в воду – озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось,– залезу и стою. По полдня торчал неподвижно – наблюдал, чево в воде происходит. Это уж от бога. Это уж не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить заместо совета разумного.

– Надо же,– с уважением опять сказала Марья.– А мне вот – хоть бы что! Больше играть любила на улице. По целым дням, бывало, не загонялась!

– Я уж, грешным делом, думаю...– Баев даже оглянулся и заговорил тише.– Я уж думаю: не прислала ли меня мать-покойница с кем другим?

– Господь с тобой! – воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась.– Тетка Анисья-то! Да ты что, ферапонтыч... Господи! Да ты и похожий-то на отца. Только ты посытей да без бороды, а так-то... Да что ты, бог с тобой! Да с кем же она могла?

– Ну!..– Баев полез опять за пузырьком.– А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тут тада рылись – искали чего-то в горах... Шут его знает! Они же... это... народишко верткий.

– Дак, а похож-то?

– Ну!.. Похож! Потришь с малых лет возле человека – будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то... Шут его знает! Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас с им... противоположные взгляды. Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять... ни к какой крестьянской работе. И к вину никогда не манило.– Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорей размышлял и сомневался.– Ведь если так-то подумать: куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там... буянить на праздники. Нет! В огороде своем собственном копать не люблю! Вот в конторе посиживать-это по мне...

– Дак оно бы и все-то так посиживали – в тепле да на почете,– вставила Марья.

– Садись! – воскликнул с сердцем Баев.– Чево ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай.

– Посиживай...

– Во-от! Голову надо иметь? Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца!

– Ну что же, уж из мужиков и людей больших не было? Вон в войну...

– В войну-у! – перебил Баев.– С наганами-то бегать да горло драть – это еще не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов! Одного Ваню Кысу возьми... С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылезил, сердешный. А тоже – храбрец из храбрецов считался...

– Ну сравнил!

– Ну а как же? Уж куда храбрей Кысы-то?.. Был ли кто?

– Кыса – разбойник. Разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов... Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тада присылал, мы всей деревней смотреть бегали.

– Это... все так,– вздохнул Баев, Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья

– спорить, неглубоко берет баба своим рассудком. Конечно, командир, ордена... трень-брень, сапоги со скрипом... Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или... так – куда шапку надевают.

Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь – наискосок – домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом – день, шумливый, суетный, бестолковый... И опять опускалась на землю ясная ночь, и охота было опять поговорить, подумать, повспоминать – испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия.

...Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, Баев собрался уже уходить, закладывая в нос последнюю порцию душистого – с валерьяновыми каплями – табаку, и тут увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек... Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.

– Ферापонтыч, – выдохнула она с ужасом, – гляди-ка!

Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось.

Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок... Слышно звякнуло железо.

– Стреляй! – тихо крикнул Баев Марье. – Стреляй!.. Через окно прямо!

Марья не шевелилась. Смотрела в окно.

– Стреляй! – опять велел Баев.

– Да как я?! В живого человека... "Стреляй!" Как?! Ты что?

Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился напрямик к ним.

– Царица небесная, матушка, – зашептала Марья, – конец наступает. Прими, господи, душеньку мою грешную...

А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно – стреляй, дескать.

Шаги громко захрустели под окнами... Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно:

– Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!

– А чего это никого нет-то? – спросил Петька Сибирцев.

– Заходи, заходи! – помахала рукой Марья. – Вот гад-то подколодный! Я думала, у меня сейчас разрыв сердца будет. Вот черт-то полуношный! Он, наверно, с похмелья день с ночью перепутал.

Вошел Петька.

– Сейчас что, ночь, что ли? – спросил он.

– Вот идиот-то! – опять ругнулась Марья. – А ты что, за четвертинкой в сельмаг? Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь – ночь.

– Заспал...

Баев пришел наконец в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.

– Да-а, – сказал он. – Пить, так уж пить – чтоб уж и время потерять: где день, где ночь.

Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.

– Ну надо же! – все изумлялась Марья. – А если б я стрельнула?

Петька поднял голову, посмотрел на Марью – то ли не понял, что она сказала, то ли не придавал значения ее словам.

– У него голова болит, – с сердцем посочувствовал Баев. – Эх-х... Жители! – Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. – Мне сейчас внучка книжку читает: Александра Невский землю русскую защищал... Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там.

Марья и Петька посмотрели на старика.

– Не верю! – еще раз с силой сказал Баев. – Выдумал... и получил хорошие деньги.

– Как это? – не поняла Марья.

– Наврал, как! Не врут, что ли?
– Это же исторический факт, – сказал Петька. – Как это он мог наврать? Конечно, он, наверно, приукрасил, но это же было.
– Не было.
– Вот как! – Петька качнул больной головой. – Хм...
– С кем что он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами, вроде тебя?
Петька опять посмотрел на старика... Но смолчал.
– Если уж сейчас с вами ничего сделать не могут – со всех концов вас воспитывают да развивают... борются всячески, – то где же тогда было набраться сознания?
Петька похлопал по карманам – искал курево, но не обнаружил ни папирос, ни спичек.
– Пиши в газету, – посоветовал он. – Опровергай.
И встал и пошел вон из избышки.
Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной заморозки, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмаг.
– У их, наверно, свадьба, – сказала Марья. – Сестра-то Петькина за этого вышла... за этого... Как его? Брат-то к агрономше приехал... Как его?
– Черт их теперь знает, И знать не хочу... Сброд всякий. – Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно – как ватные сделались. Все же испугался он сильно, – Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать!
– Они, ночи-то, вон, какие светлые. Наверно, соскочил со сна-то – видит, светло, и дунул в сельмаг.
– Это ж... он и солнце с луной спутал?
Марья засмеялась:
– Видно, гуляют крепко.
В животе у Баева затревожилось, он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся.
– Пойду. Спокойно тебе додежурить.
– Будь здоров, ферापонтыч. Приходи завтра, я завтра картошки принесу – напекем.
– Напекем, напекем, – сказал Баев. И поскорей вышел.
Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко – Баев был в валенках.
А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Непокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу и снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.

Критики

Деду было семьдесят три, Петьке, внуку, – тринадцать. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили.
Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке:
– Ухайдакали мы с тобой пять рубликов!
Петька для приличия делал удивленное лицо.
– Ничего, прокормит, – говорил дед (имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу). – А нам с тобой это для пользы.
Садилась всегда в первый ряд: дешевле, и потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед

вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел:

– Ты чего? Как дурак...

– А как он тут сказал? – спрашивал дед.

Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:

– Не снижая темпов.

– Хе-хе-хе, – негромко смеялся дед уже над собой. – А мне не так показалось.

Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного.

– Эх вы... люди! – горько шептал он и сморкался в платок. Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал:

– От черти!.. Ты гляди, гляди... Хэх!

Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой (в молодости, говорят, он охотник был подрасться. И умел).

– Нет, вон тот не... это... слабый. А этот ничего, верткий.

Впрочем, фальшь чуял.

– Ну-у, – обиженно говорил он, – это они понарошке.

– Так кровь же идет, – возражал Петька.

– Та-а... кровь. Ну и что? Нос, он же слабый: дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело,

– Ничего себе не в том!

– Конечно, не в том.

На них шикали сзади, и они умолкали.

Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости.

– Хреновина, – заявлял он. – Так не бывает.

– Почему не бывает?

– А что, тебе разве этот парень глянется?

– Какой парень?

– С гармошкой-то. Который в окно-то лазил.

– Он не лазил в окно, – поправлял Петька; он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку, – Он только к окну лез, чтобы спеть песню.

– Ну, лез. Я вон один раз, помню, полез было...

– А что, он тебе не глянется?

– Кто?

– Кто-кто!.. Ну парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него.

– Ни вот на столько, – дед показывал кончик мизинца. – Ваня-дурачок какой-то. Поет и поет ходит... У нас Ваня-дурачок такой был – все пел ходил.

– Так он же любит! – начинал нервничать Петька.

– Ну и что, что любит?

– Ну и поет.

– А?

– Ну и поет, говорю!

– Да его бы давно на смех подняли, такого! Ему бы проходу не было. Он любит... Когда любят, то стыдятся. А этот трезвонит ходит по всей деревне... Какая же дура пойдет за него! Он же несерьезный парень. Мы вон, помню: поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь – потому что совестно. Любит... Ну и люби на здоровье, но зачем же...

– Чего – зачем?

– Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню...

– Опять "мы, мы". Сейчас же люди-то другие стали!

– Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков?

– Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать.

– Я и не сравниваю. Я говорю, что парень непохожий, вот и все, – стоял на своем дед.

– Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то смеялся.

– Ты маленький ишо, поэтому тебе все смешно. Я вот небось не засмеюсь где попало.

Со взрослыми дед редко спорил об искусстве – не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался.

Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми, и этот-то единственный раз и навлек на его голову беду.

Дело было так.

Посмотрели они с Петькой картину – комедию, вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам.

– И ведь что обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут сидишь – хоть бы хны, даже усмешки нету! – горько возмущался дед. – У тебя была усмешка?

– Нет, – признался Петька. – Один раз только, когда они с машиной перевернулись.

– Ну вот! А ведь мы же деньги заплатили – два рубля по-старому! А они сами посмеялись и все.

– Главное, пишут "Комедия".

– Комедия!.. По зубам за такую комедию надавать.

Пришли домой злые.

А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетька, сестра матери Петьки. С мужем. Из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. (Дед и Петька не переваривали телевизор. "Это я, когда еще холостым был, а брат, Микита, женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний: все вроде как подглядываешь", – сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи.)

Вот, значит, сидят все, смотрят,

Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил:

– Хреновина. Так не бывает.

Отец Петьки обиделся:

– Помолчи, тять, не мешай.

– Нет, это любопытно, – сказал городской вежливый мужчина. – Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает?

– А?

– Он недослышит у нас, – пояснил Петькин отец.

– Я спросил: почему так не бывает? А как бывает? – громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь.

Дед презрительно посмотрел на него:

– Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет.

– Они у нас критики с Петькой, – сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон.

– Любопытно, – опять заговорил городской. – А почему вы решили, что он топор неправильно держит?

– Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. "Почему решили?"

– Дедушка, – встряла в разговор Петькина тетька, – а разве в этом дело?

– В чем?

– А мне вот гораздо интереснее сам человек. Понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник – это актер, но мне инте... мне гораздо интереснее...

– Вот такие и пишут на студии, – опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети.

Они были очень умные и все знали – Петькина тетька и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило.

– Тебе не важно, а мне важно, – отрезал он, – Тебя им надуть – пара пустяков, а меня не надуют,

– Ха-ха-ха, – засмеялся городской человек. – Получила?

Петькина тетя тоже усмехнулась,

Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда.

– Тебе ведь трудно угодить, тять, – сказал Петькин отец. – Иди лучше к Петьке, помоги ему. – Склонился к городскому человеку и негромко пояснил: – Помогает моему сыну уроки учить, а сам – ни в зуб ногой. Спорят друг с другом. Умора!

– Любопытный старик, – согласился городской человек.

Все опять стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке.

– Смеются, – сказал он Петьке.

– Кто?

– Вон... – Дед кивнул в сторону горницы. – Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают!

– Не обращай внимания, – посоветовал Петька.

Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил.

– Ты, говорят, дурак, из ума выжил...

– Что, так и сказали!

– А?

– Так и сказали на тебя – дурак?

– Усмехаются сидят. Они шибко много понимают! – Дед постепенно "заводился", как выражался Петька.

– Не обращай внимания, – опять посоветовал Петька.

– Приехали... Грамотеи! – Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел.

Пришел через час пьяный.

– О-о! – удивился Петька (дед редко пил). – Ты чего это?

– Смотрют? – спросил дед,

– Смотрют. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?

Дед грузно опустился на лавку.

– Они понимают, а мы с тобой не понимаем! – громко заговорил он. – Ты, говорят, дурак, дедушка! Ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают! Денег много?! – Дед уже кричал. – Если и много, то не подымай нос! А я честно всю жизнь горбатился!.. И я же теперь сиди помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал! – Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор.

Петька растерялся.

– Не надо, не надо, – успокаивал он деда. – Давай я тебя разую. Ну их!..

– Нет, стой, я ему скажу... – Дед хотел встать, но Петька удержал его:

– Не надо, деда!

– Финтифлюшки городские. – Дед как будто успокоился, притих.

Петька снял с него один сапог.

Но тут дед опять чего-то вскинул голову.

– Ты мне усмешечки строишь? – Опять глаза его безрассудно заблестели. – А я тебе одно слово могу сказать!.. – Взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его.

Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор:

– Вот вам!.. И плотникам вашим!

Экран – вдребезги.

Все повскакали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула.

– Усмешечки строить! – закричал дед. – А ты когда-нибудь топор держал в руках?!

Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу.

Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать

полотенцем.

– Удосужил ты меня, удосужил, родитель,– зло говорил он, накрепко стягивая руки деда.– Спасибо тебе.

Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла.

– Удосужил ты меня... – все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился.

Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой о крашеную половицу и кричал:

– Ты мне усмешечки, а я тебе – одно слово!.. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты говоришь...

– Да разве я так говорил? – спросил городской мужчина.

– Не говорите вы с ним,– сказала мать Петьки.– Он сейчас совсем оглох. Бессовестный.

– Вы меня с собой за стол сажать не хотите – ладно! Но ты мне... Это – ладно, пускай! – кричал дед.– Но ты мне тогда скажи: ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А-а!.. А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю! А я половину этой деревни своими руками построил!..

– Удосужил, родимчик тебя возьми, удосужил,– приговаривал отец Петьки.

И тут вошли Петькина тетька и милиционер, здешний мужик, Ермолай Кибяков.

– Ого-го! – воскликнул Ермолай, широко улыбаясь.– Ты чего это, дядя Тимофей? А?

– Удосужил меня на радостях-то,– сказал отец Петьки, поднимаясь.

Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал:

– Надо. Пусть там переночует.

Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу.

Дед притих.

Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево.

"Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча..."

– Он с какого года рождения?

– С девяностого.

"...Одна тысяча девяностого года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету.

Вышеуказанный Тимофей двадцать пятого сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор. И гости еще были..."

– Как кинофильм назывался?

– Не знаю. Мы включили, когда там уже шло,– пояснил отец.– Про колхоз. "...Заглавие фильма не помнят, Знают одно: про колхоз.

Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: "Таких плотников не бывает". Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. "Руки, говорит, у плотников совсем не такие". И стал совать свои руки, Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер 43-45, яловый) и произвел удар по телевизору.

Само собой, вышеб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно.

Старший сержант милиции КИБЯКОВ".

Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет.

– Пошли, дядя Тимофей!

Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его:

– Куда вы его?! Деда, куда они тебя!.. Не надо, тять, не давай!..

Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся:

– Жалко дедушку-то? Сча-ас мы его в тюрьму посадим. Сча-ас...

Петька заплакал еще громче.

Мать увела его в уголок и стала уговаривать:

– Ничего не будет с ним, что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет. А завтра стыдно будет. Не плачь, сынок,

Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку:

– Что ты, Петенька? В отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель! Он же придет скоро, У нас в Москве знаешь сколько водят в отрезвитель!.,

Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера, грубо оттолкнул ее от себя, залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку.

Заревой дождь

Был конец апреля. С карнизов домов срывались крупные капли, теплый ветер сдувал их, они мягко шлепались в стекла окон и медленно стекали светлыми слезами. Ефим Бедарев лежал в районной больнице, в маленькой палате, на плоской койке.

Он почернел от болезни. Устал.

Часто заходил врач, молодой парень.

– Ну, как дела?

– Как сажа бела,– с трудом отвечал Ефим; в темных провалившихся глазах его на миг вспыхивала странная веселость.– Подвожу баланс.

– Бросьте вы!..

– Я шутейно,– успокаивал Ефим. Ему нравился доктор: он был до смешного молодой и застенчивый, этот доктор.

– Лекарство пили?

– А как же! Лучше стало – чую.

Доктор пытливо смотрел на больного. Тот спокойно выдерживал его взгляд.

– Не веришь? Хэх, доктор!.. До чего же ты молодой еще. Прямо завидки берут.

Доктор краснел:

– Как это не верю! Зачем вы так?..

Ефим легонько хлопал его по руке:

– Все в порядке, сынок: я понимаю. Я не жалею... Мне бы только дочь...

– Ей послали телеграмму.

– Вот хорошо! – Ефим хотел увидеть единственную дочь Нину. – Это хорошо.

В полдень, когда в палате никого не было, в открытое окно, с улицы, заглянул человек в белом полушубке. Оглядел палату, снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник. В палате запахло талой землей и овчиной.

– Здорово, Ефим.

Больной повернул голову и от удивления округлил глаза. Пошевелился – хотел приподняться, но человек в полушубке замахал рукой:

– Лежи!

Ефим внимательно смотрел на пришельца.

– Зашел попроведать,– заговорил тот, глядя раскосыми глазами не то на больного, не то мимо.– Как делишки, Ефим?

Ефим усмехнулся:

– Хорошо.

Большеголовый понимающе кивнул. Вылез из окна, высморкался на землю и снова влез и лег на подоконник. Некоторое время смотрели друг на друга.

– Значит, как я понимаю, плохо дело,– сказал большеголовый и опять понимающе кивнул.

– Ты для чего приполз сюда? – спросил Ефим,
– А приехал в гости к зятю, – охотно заговорил большеголовый, – ну, узнал, что ты, значит, прихворнул. Ага. Ну, сидел на крыльчке, и так меня разморило. Вот, думаю, весна, хорошо, солнышко светит. Да-а... А помирать все одно надо. – Он полез в карман полушубка за кисетом. – И опять же так подумал: вот живем мы, живем – вроде так и надо. О смертыньке-то и не думаем. А она – раз! – тут как тут. Здрате, говорит, забыли про меня? – Большеголовый посмотрел прямо на Ефима. – Взять хоть тебя, Ефим... Он долго слюнявил край газетной самокрутки.

– Ну?

– Ну, жил, думаю, человек... активничал там, раскулачивал... э-э... и все такое. – Большеголовый прикурил, заботливо отмахнул от окна белое облачко дыма. – Крест с церкви тогда своротил. Помнишь?

– Помню, как же.

– Во-от. Я к чему это: там есть бог или нету – это ладно. Не про то счас. Я хочу узнать: как вообще-то?

– Что?

– Мучаешься?

– Хочешь знать: мучает меня совесть, что я вас раскулачивал? Это, што ли?

– Ага, вот это самое.

– Нет, Кирилл, не мучает. Нисколько. А бога ты зря приплел. Ты ж сам не веришь. Хоть бы сейчас-то не вилял душой.

Кирилл усмехнулся:

– Богу не верю – это правда. Ему, как я понимаю, никто не верит, притворяются только.

– Молодец. Хоть на старости лет за ум взялся.

– Не радуйся шибко-то. – Большеголовый назидательно посерьезнел. – Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать: кто в жизни обижал людей, тот легко не умирает.

– Ой, как я испугался, прямо трясусь весь. Дурак ты, Кирька, и всегда дураком был. Хэх, блаженненький явился...

– Это ты передо мной веселишься, – продолжал Кирька. – А самому страшно.

– А я не помру. Откуда ты взял, что я помираю?

– Ничего, ничего, – значительно сказал Кирька и затянулся трескучим самосадам.

Вошел доктор.

– Это еще что такое? – нахмурился он, увидев Кирьку.

– Это... сосед мой, – сказал Ефим. – Пусть постоит.

– Бросьте курить-то! И лучше бы уйти...

– Нет, – запротестовал Ефим, – пусть побудет.

Кирька сполз с подоконника, старательно затоптал окурок.

Врач заставил Ефима выпить лекарство, посидел немного рядом с ним и ушел.

Кирька снова лег на подоконник.

– Хороший уход здесь, – сказал он.

– "Хороший уход здесь", – передразнил его Ефим, неожиданно почему-то рассердившись. – Оглоеды.

– Не шуми. Это тебе не сельсовет, а больница.

Помолчали.

– Гляжу я на тебя, Ефим, – заговорил вдруг Кирька задумчиво и негромко, – и не могу понять: ведь сколько ты мне вреда сделал! Хозяйство отобрал, по тайге гонял, как зверя какого, сослал вон куда – к черту на кулички... Так? А зла у меня на тебя нету большого. Не то, что совсем нету: подвернись тогда в тайге, я ба, конечно, хлопнул. Но такого, чтоб света белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, караулил у твоей избы чуть не до света. Сидел ты с бумажками прямо наспроть окна. Раз десять прицеливался – и не мог. Не поверишь, наверно? В тайге мог ба, а дома нет. Сижу, ругаю себя последними словами, а стрельнуть не могу.

Ефим скатил по подушке голову в сторону Кирьки, с любопытством слушал.

– Ты какой-то все-таки ненормальный был, Ефим. Не сердчай – не по злобе говорю. Я не лаяться пришел. Мне понять охота: почему ты таким винтом жил – каждой бочке затычка? Ну, прятал я хлеб, допустим. А почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой, хлеб-то.

– Дурак, – сказал Ефим.

– Опять дурак! – обозлился Кирька. – Ты пойми – я ж сурьезно с тобой разговариваю. Чего нам с тобой теперь делить-то? Насобачились на свой век, хватит.

– Чего тебе понять охота?

– Охота понять: чего ты добивался в жизни? – терпеливо пытал Кирька. Каждый человек чего-то добивается в жизни. Я, к примеру, богатым хотел быть. А ты?

– Чтoб дураков было меньше, Вот чего я добивался.

– Тьфу!.. – Кирька полез за кисетом. – Я ему одно, он – другое.

– Богатым он хотел быть!.. За счет кого? Дурак, дурак, а хитрый.

– Сам ты дурак. Трепач. Новая жись!.. Сам не жил как следует и другим не давал.

Ошибся ты в жизни, Ефим.

Ефим закашлялся. Высохшее тело его долго содрогалось и корчилось от удушающих приступов. Он смотрел на Кирьку опаляющим взглядом, пытался что-то сказать. Вошел доктор и бросился к больному.

Кирька слез с окна и пошел из ограды.

К вечеру, когда больничные окна неярко пламенели в лучах уходящего солнца, Ефиму Бедареву стало хуже.

Он лежал на спине, закинув руки назад. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами тонкие прутья кровати, напрягался – хотел встать. Но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий, жгла губительным огнем; жаром дышала в лицо, жарко, мучительно жарко было под одеялом, в жарком тумане качались стены и потолок...

Над Ефимом стояли врач и дочь Нина, женщина лет тридцати, только что приехавшая их города.

– Что сейчас?.. Ночь? – спрашивал Ефим, очнувшись.

– Вечер, солнце заходит.

– Закурить бы...

– Нельзя, что вы!

– Ну, пару раз курнуть, я думаю, можно?

– Да нельзя, нельзя! Как же можно, папа?!

Ефим обиженно умолкал... И снова терял сознание, и снова хотел встать – упорно и безнадежно. Один раз в беспамятстве ему удалось сесть в кровати. Дочь и доктор хотели уложить его обратно, но он уперся рукой в подушку, а другой торопливо рвал ворот рубашки и тихонько, горячо, со свистом в горле шептал:

– Да к чему же?.. К чему?.. Я же знаю! Я все знаю!.. – В сухих, воспаленных глазах его мерцал беспокойный, трепетный свет горькой какой-то мысли.

Кое-как уложили его... Дочь припала к отцу на грудь, затряслась в рыданиях:

– Папа! Папочка мой хороший!.. Папа!..

Доктор увел женщину из палаты и остался с больным один.

Ефим притих.

Врач сидел на кровати, смотрел на него.

– Кирька! – позвал Ефим, не открывая глаз.

– Чего? – откликнулся чей-то голос.

Врач вздрогнул и обернулся – у окна стоял Кирька и глядел на Ефима. Он давно уж наблюдал за непосильной борьбой человека со смертью,

– Вы что тут?

– Смотрю...

– Это кто? Кирька? – спросил Ефим.

– Я.

– Пришел?

– Ага.

– Ничего, Кирька...– Ефим жадно дышал.– Я потом с тобой потолкую... Конечно, жалко малость...

– Ничего, Лежи, Ефим.

Врач ничего не понял из этого странного разговора. Он решил, что Ефим опять бредит, и сделал знак Кирьке, чтобы тот ушел: больной волновался.

Кирькина голова исчезла.

Ночь кончалась. Заревая сторона неба нахмурилась тучами. Повеяло затхлым теплом болотистых низин – собирался дождь.

Где-то прогудела машина; несколько кобелей-цепняков простуженно забухали в рассветную тишину.

Над Ефимом склонились врач и дочь.

– Все? – спросил Ефим одними губами.

У женщины запрыгал подбородок. Врач воскликнул:

– Что это вы, Ефим Назарыч! Глупости какие...

– Открой окно.

– Оно открыто.

– Тяжко... Нина, дочка... ребятешек... м-м...-Ефим повел потускневший взгляд в сторону, потянулся под одеялом... Лицо покрылось мучнистой бледностью. Он закашлялся... Из рта на подушку протянулся тонкий ручеек сукровицы. Последним усилием рванулся он с койки... сел.

Доктор и дочь подхватили его.

В горле у Ефима кипело. Он хотел что-то сказать, но только мычал. Он плохо держал голову... пачкал белый халат дочери теплой кровью и мычал – хотел что-то сказать.

– Что, Ефим, плохо? – с искренней участливостью спросил вдруг посторонний голос – это Кирька опять стоял у окна. Ему никто не ответил. Его даже, наверно, не услышали.

Ефим сразу отяжелел в руках дочери, обвис... Его бережно положили на койку. Стало тихо.

Женщина окаменела у койки. Смотрела на отца большими глазами. В стекла окон сыпанули первые крупные капли дождя; деревья в больничном саду встрепенулись, закачали ветвями, зашумели.

Порывом ветра в окно палаты закинуло клочок бумаги; он упал к ногам женщины, тихо шаркнув по полу. Она вздрогнула, опустилась перед отцом на колени... Кирька медленно пошел прочь от больницы. Шапку забыл надеть – нес в руках. Теплый обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу, по шее, за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь – первый в этом году,

Шел Кирька и грустно смотрел в землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять: почему жалко? Грустно было и жалко, и все.

Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячью длинных сверкающих ножек. Кипело, булькало в канавках и в лужицах... Хлюпало.

Горе

Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит тихо. Неспokoйно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже – не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, – сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей.

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет. Я оглянулся и увидел

старика Нечая, соседа нашего.

Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво.

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались.

Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру: "Нечаиха-то... гляди-ко, сердешная",-сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли – и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: "Цып-цып-цып". Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была – и нету, ушла.

...Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжело бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем не страшно на ней.

Я притаился.

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку.

– Ничо... счас маленько уймусь... мирно побеседуем, – тихо говорил старик и все не мог унять слезы.– Третий день маюсь – не знаю, куда себя деть. Руки опустились... хошь што делай.

Помаленьку он успокоился.

– Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Сказала бы – и то легче. А то-думай теперь... Охо-хо... – Помолчал. – Ну, обмыли тебя, нарядили – все, как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали, Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили. А положили тебя с краешку, возле Давыдовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить избенку да к Петьке уехать?.. Опасно: он сам ничо бы, да бабенка-то у его... сама знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего посоветуешь?

Молчание.

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, терпеливым голосом.

– Вот гадаю,– продолжал дед Нечай,– куда приткнуться? Прямо хошь петлю накидывай. А это вчерашней ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся, а это не яички, и цыпляты живые, маленькие ишо, И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо прихваливаешь... Страсть господня! Проснулся... Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя– нету. Парасковьюшка... язви ты в душу!..– Дед Нечай опять заплакал. Громко. Меня мороз по коже продрал – завыл как-то, как-то застонал протяжно: – Э-э-э... у-у... Ушла?.. А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы доктора из города привез... вылечиваются люди. А то ни слова, ни полслова – вытянулась! Так и я сумею...– Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул.– Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Сنيшься-то. Снись хошь почаще... только нормально. А то цыпляты какие-то... черт те чего. А тут...– Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал, – Грешным делом хотел уж... А чего? Бывает, закапывают, я слышал. Закопали бабу в Краюшкино... стонала. Выкопали... Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хотел... Сон, говорят, наваливается какой-то страшный – и все думают, што помер человек, а он не помер, а – сонный...

Тут мне совсем жутко стало, Я ползком – да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

– Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? – расспрашивал дед.

– С ей. Советуется, как теперь быть...

– Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный?

– Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает.– Я знал это.

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал.

– Кто тут? – строго спросил дед.

Нечай долго не отвечал.

– Кто здесь, я спрашиваю?

– А чего тебе?

– Ты, Нечай?

– Но...

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас – был очень недоволен.

– А ишо кто тут был?

– Иде?

– Тут... Я слышал, ты с кем-то разговаривал.

– Не твое дело.

– Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался.

Старый человек, а с ума сходишь... Не стыдно?

– Я говорю с ей и никому не мешаю,

– С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек – в земле.

– Она разговаривает со мной, я слышу, – упрямылся Нечай. – И нечего нам мешать.

Ходят тут, подслушивают...

– Ну-ка, пошли, – Дед легко поднял Нечая с земли. – Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем – полегчает.

Дедушка Нечай не противился.

– Чижало, кум, – силов нету.

Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы.

Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал – неслышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая.

– А кому легко? – успокаивал дед. – Кому же легко родного человека в землю зарывать? Да если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи.

– Жалко.

– Конечно, жалко... кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноги протянешь. Терпи.

– Вроде соображаю, а... запеклось вот здесь все – ничем не размочишь. Уж пробовал – пил: не берет.

– Возьмет. Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?..

– В командировку уехал. Ох, чижало, кум!.. Сроду не думал...

– Мы всегда так: живет человек – вроде так и надо. А помрет – жалко. Но с ума от горя сходить – это тоже... дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла.

Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню; все так же резко, горько пахло полынью.

Дед оставил Нечая у нас.

Они легли ни полу, накрылись тулупом.

– Я тебе одну историю расскажу, – негромко стал рассказывать мой дед. Ты вот не воевал – не знаешь, как там было... Там, брат... похуже дела были. Вот какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А студебеккер наш битком набитый. Стоняют, просят потише... А шофер, Миколай Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: отступаем, Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет: стой, мол. А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали, Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги – с наганом. Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который

наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого, Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был – совсем тоже плохой, почесть лежал; Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как. А тот, какого подсадили-то, часует, бедный. Голова в крове, все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверно, начал. Я голову его на коленки к себе взял – хоть поддержать маленько, да кого там!.. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых... – Дед крикнул, помолчал. Закурил, – Миколай тоже стал помогать... Помогать... Подал я ему лейтенанта-то... "Все, говорю, кончился". А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то... Кхэх... Опять молчание. Долго молчали.

– Неужто сын? – тихо спросил дед Нечай.

– Сын.

– Ох ты, господи!

– Кхм... – Мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд.

– А потом-то што?

– Схоронили... Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал.

– Пошто не сказал-то?

– Скажи!.. Так хоть какая-то надежда есть – без вести и без вести, а так... совсем.

Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог,

– Господи, господи, – опять вздохнул дед Нечай. – Сам-то хоть живой остался?

– Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам... Вот какая история. Сына! – легко сказать. Да молодого такого...

Старики замолчали.

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут – сияет!

Хозяин бани и огорода

В субботу, под вечерок, на скамейке перед домом сидели два мужика, два соседа, ждали баню. Один к другому пришел помыться, потому что свою баню ремонтировал. Курили. Было тепло, тихо. По деревне топились бани: пахло горьковатым баннным дымком.

– Кизяки нынче не думаешь топтать? – спросил тот, который пришел помыться, помоложе, сухой, скуластый, смуглый.

– На кой они мне... – лениво, не сразу ответил тот, который постарше. Он смотрел в улицу, но ничего там не высматривал, а как будто о чем-то думал, может, вспоминал.

– А я не знаю, что делать. Топтать, что ли...

– Наплавь из острова да топи.

– Не знаю, что делать... Может, правда, наплавить.

– Конечно,

– Ты будешь плавить?

– Я, может, угля куплю. Посмотрю.

– Наверно, наплавлю. Неохота этими кизяками заниматься.

Тот, что постарше, спокойный, грузный, бросил под ногу окурок, затоптал. Посмотрел задумчиво в землю и поднял голову...

– Хошь расскажу, как меня хоронить будут? – Чуть сощурил глаза в усмешке.

– О! – удивился сухой, смуглый. – Ты что?

– Хошь?

– А чего ты... помирать-то собрался?

– Да не собрался. Я туда не тороплюсь. Но я в точности знаю, как меня хоронить будут. Рассказать?

– Во, елки зеленые! Мысли у тебя. Чего ты? – еще спросил тот, помоложе.

– Значит, будет так: помер. Ну, обмыли – то-се, лежу в горнице, руки вот так... –

Рассказчик показал, как будут руки. Он говорил спокойно, в маленьких умных глазах его мерцала веселинка.— Жена плачет, детишки тоже... Люди стоят. Ты, например, стоишь и думаешь: "Интересно, позовут на поминки или нет?"

— Ну, слушай! — обиделся смуглый.— Чего уж так?

— Я в шутку,— сказал рассказчик. И продолжал опять серьезно: — Ты будешь стоять и думать: "Чего это Колька загнулся? Когда-нибудь и я тоже так..."

— Так все думают.

— Жена будет причитать: "Да родимый ты наш, да на кого же ты нас оставил?! Да ненаглядный ты наш, да сокол ты наш ясный". Сроду таких слов не говорят, а как помрет человек, так начинают: "сокол", "голубь"... Почему так?

— Ну, напоследок-то не жалко. А еще приговаривают: "ноженьки", "рученьки", "головушка". "Ох, да отходил ты своими ноженьками по этой горенке". А у кого есть сорок пятый размер — тоже ноженьки!

— Это потому, что в этот момент жалко. Кого жалеют, тот кажется маленьким.

— Ну а дальше?

— Дальше понесли хоронить. Оркестр в городе наняли за шестьдесят рублей. Тут, значит, скинутся: тридцать рублей сама заплатит, тридцать — с моих выжмет, А на кой он мне черт нужен, оркестр? Я же его все равно не слышу.

— Друг перед другом выхваляются. Одни схоронили с оркестром, другие, глядя на них, тоже. Лучше бы эти деньги на поминки пустить...

— Во, я и говорю: кто про что, а ты про поминки.— Рассказчик засмеялся негромко. Молодой не засмеялся.

— Но когда сядут и хорошо помянут — поговорят про покойного, повспоминают — это же дороже, чем один раз пройдут поиграют. Ну и что поиграли? Ты же сам говоришь: "На кой он мне?"

— Тут дело не в покойнике, а в живых. Им же тоже надо показать, что они... уважали покойного, ценили. Значит, им никаких денег не жалко...

— Не жалко! Что, у твоей жены шестидесяти рублей не найдется?

— Найдется. Ну и что?

— Чего же она будет с твоей родни тридцать рублей выжимать на оркестр? Заплати сама, и все, раз уважаешь. Чего тут скидываться-то?

— Я же не скажу ей из гроба: "Заплати сама!"

— Из гроба... Они при живых-то что хотят, то и делают. Власть дали! Моей девчонке надо глаза закапывать, глаза что-то разболелись... Ну, та плачет, конечно, когда ей капают,— больно. А моя дура орет на нее. Я осадил разок, она на меня, А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет, я не могу.

— Но капать-то надо.

— Да капать-то капай, зачем ругаться-то на нее? Ей и так больно, а эта орет стоит "не плачь!". Как же не плакать?

— Да...— Николаю, рассказчику, охота дальше рассказывать, как его будут хоронить.— Ну, слушай. Принесли на могилки, ямка уже готова...

— Ямку-то я копать буду. Я всем копаю.

— Наверно...

— Я Стародубову Ефиму копал... Да не просто одну могилку, а сбоку еще для старухи его подкапывал. А они меня даже на поминки не позвали. Главное, я же сам напросился копать-то: я любил старика. И не позвали. Понял?

— Ну, они издалека приехали, сын-то с дочерью, чего они тут знают: кто копал, кто не копал...

— Те не знали, а что, некому подсказать было? Старуха знала... Нет, это уж такие люди. Два рубля суют мне... Хотел матом послать, но, думаю, горе у людей...

— А кто совал-то?

— Племянница какая-то Ефимова. Тоже где-то в городе живет. Ну, распоряжалась тут

похоронами. Подавись ты, думаю, своими двумя рублями, я лучше сам возьму пойду красненькой бутылку да помяну один. Я уважал старика...

– Так, а чего ты? Взял эти два рубля да пошел купил себе...

– Да я же не за деньги копал! Я говорю: уважал старика, мы вместе один раз тонули. Я пас колхозных коров, а он своих двух телков пригнал. И надумали мы их в Сухой остров перегнать – там трава большая в кустах и не жарко. Погнали, а его телка-то сшибло водой. Он за телком, да сам хлебнул. Я кой старика-то вытаскивал, телка нашего на дресву оттащило. Из старика вода полилась, очухался, он и маячит мне: телка, мол, спасай, я ничего...

– Спасли? Телка-то.

– Спасли. Хороший был старик. Добрый. Мне жалко его.

– Я его мало знал. Знал, но так... Он долго хворал?

– Нет. У него сперва отнялись ноги... Его в больницу. А он застеснялся, что там надо нянечку каждый раз просить... Заталдычил; "Везите домой, дома помру". Интеллигент нашелся – няньку стыдно просить. Она за это деньги получает, оклад.

– Ну, каждый раз убирать за имя – это тоже...

– А как же теперь? Он и так уж старался поменьше исть, молоком больше... Но ведь все же живой пока человек. Как же теперь?

– Оно, конечно.

– Может, полежал бы в больнице, пожил бы еще...

– Его без оркестра хоронили?

– Какой оркестр! Жадные все, как... Сын-то инженером работает, мог бы... Ну, копейка на учете.

– Да старику-то, если разобраться, на кой он, оркестр-то? – сказал рассказчик, хозяин бани.

– А тебе?

– Чего?

– Тебе нужен?

– И мне не нужен.

– Никому не нужен, но все же хоронят с оркестром. Не покойник же его заказывает, живые, сам говоришь. Любили бы отца, заказали бы. Жадные.

– Бережливые, – поправил хозяин бани.

Смуглый посмотрел на рассказчика... Понимающе кивнул головой.

– Вот и про себя скажи: я не жадный, а бережливый. А то – "не надо оркестра, я его все равно не слышу". Скажи уж: денег жалко. Чего рассусоливать-то? Я же вас знаю, что ты, что Кланька твоя – два сапога пара. Снегу зимой не выпросишь.

Рассказчик помолчал на это... Игрнул скулами. Заговорил негромко, с напором:

– Легко тебе живется, Иван. Развалилась баня, ты недолго думая пошел к соседу мыться. Я бы сроду ни к кому не пошел, пока свою бы не починил... И ты же ходишь прославляешь людей по деревне: этот жадный, тот жадный, Какой же я жадный: ты пришел ко мне в баню, я тебе ни слова не говорю: иди мойся. И я же жадный! Привыкли люди на чужбинку жить...

Иван достал пачку "Памира". Закурил. Усмехнулся своим мыслям, покачал головой:

– Вот видишь, из тебя и полезло, Баню пожалел...

– Не баню пожалел, а... свою надо починить. Что же вы, так и будете по чужим баням ходить?

– Ты же знаешь, мне не на че пока тесу купить,

– Да у тебя сроду не на че! У тебя сроду денег нет. Как же у других-то есть? Потому что берегут ее, копейку-то. А у тебя чуть завелось лишка, ты их скорей торописся загнать куда-нибудь. Баян сыну купил!.. Хэх!

– А что тут плохого? Пускай играет.

– Видишь, ты хочешь перед людьми выщелкнуться, а я, жадный, должен для тебя баню

топить, На баян он нашел денег, а на тес – нету.

– Мда-а,,. Тьфу! Не нужна мне твоя баня, гори она синим огнем! – Иван поднялся.– Я только хочу тебе сказать, куркуль: вырастут твои дети, они тебе спасибо не скажут, Я проживу в бедности, но своих детей выучу, выведу в люди... Понял?

"Куркуль" не пошевелился, только кивнул головой, как бы давая знать, что он понял, принял, так сказать, к сведению.

– Петька твой начал уж потихоньку выходить в люди. Сперва пока в огороды.

– Как это?

– Морковка у меня в огороде хорошая – ему глянется...

– Врешь ведь? – не поверил Иван.

– А спроси у него. Еще спроси: как ему та хворостина? Глянется, нет? И скажи: в другой раз не хворостину, а бич конский возьму... – Сидящий снизу нехорошо, зло глянул на стоящего, – А то вы, я смотрю, добрые-то за чужой счет в основном. А чужая кобыла, знаешь, лягается. Так и передай своему баянисту,

Иван, изумленный силой взгляда, каким одарил его хозяин бани и огорода, некоторое время молчал.

– Да-а,– сказал он,– такой правда за две морковки изуевич.

– Свою надо иметь. Мои на баяне не усеют, зато в чужой огород не полезут.

– А ты сам в детстве не лазил?

– Нет. Меня отец на баяне не учил, а за воровство руки выламывал.

– Ну и зверье же!

– Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму. Так уделаю, что лежать будет. Жалуйтесь потом...

– Тьфу! – Иван повернулся и пошел домой. Изрядно отшагал уже, обернулся и сказал громко: – Вот тебе-то я ее не буду копать! И помянуть не приду...

Хозяин бани и огорода смотрел на соседа спокойными презрительными глазами. Видно, думал, как покрепче сказать: Сказал:

– Придешь. Там же выпить дадут... как же ты не придешь. Только позвали бы – придешь.

– Нет, не приду! – серьезно, с угрозой сказал Иван.

– А чего ты решил, что я помираю? Я еще тебя переживу. Переживу, Ваня, не горюй.

– Куркуль.

– Иди музыку слушай. Вальс "Почему деньги не ведутся". – Хозяин бани и огорода засмеялся. Бросил окуроч, поднялся и пошел к себе в ограду.

Космос, нервная система и шмат сала

Старик Наум Евстигнеев хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в месяц – с пенсии – Евстигнеев аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

– Как черти копытьями толкут, в господа мать. Кончаюсь...

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеева, учил уроки.

– Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

– Не надо было напиваться.

– Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить – все малость полегче.

– А чо же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться...

– Зачем?

– Што я не человек, што ли?

– Хм... Рассуждения, как при крепостном праве.– Юрка откинулся на спинку венского

стула, насмешливо посмотрел на хозяина.— Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

— А ты откуда знаешь про крепостное время-то? — Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит,— Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

— Проходили,

— Учителя, што ли, рассказывали?

— Но.

— А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

— В книгах.

— В книгах... А они случайно не знают, отчего человек с похмелья хворает?

— Травление организма: сивушное масло.

— Где масло? В водке?

— Но.

Евстигнеичу хоть тошно, но он невольно усмехается:

— Доучились.

— Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу...Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

— О-о... опять накатило! Все, конец...

— Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег, Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет — сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки, туюски, бочонки — целый склад, В кладовке полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде — яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курицам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. "Черти драные. Тут ли счас не жить" — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери кроме него еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят — старик себе отдельно, Юрка себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб. Потом спрашивает:

— Все вышло?

— Ага.

— Я дам... апосля привезешь.

— Давай.

Старик отвечает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу. По утрам беседуют у печки.

— Все же охота доучиться?

— Охота. Хирургом буду.

— Сколько ишо?

— Восемь. Потому что в медицинском — шесть, а не пять, как в остальных.

— Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сестоль?

– На стипендию. Учатся ребята... У нас из деревни двое так учатся. Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.
– Что эт вас так шибко в город-то тянет?
– Учиться... "Что тянет". А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

– Што, они много шибко получают, што ль?
– Кто? Хирурги?
– Но.
– Наоборот, им мало плотят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно...
– Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по скольку зашибают! Да ишо приворовывают: где лешишко кому подкинет, где сена привезет совхозного – деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери... Накапает раздражение против старика.

– Проживем, – резко говорит он. – Никому до этого не касается,
– Знамо дело, – соглашается старик. – Сбили вас с толку этим ученьем – вот и мотаетесь по белому свету, как... – Он не подберет подходящего слова – как кто. – Жили раньше без всякого ученья – ничего, бог миловал: без хлебушка не сидели.

– У вас только одно на уме: раньше!
– А то... ирапланов понаделали-дерьма-то.
– А тебе больше глянется на телеге?
– А чем плохо на телеге? Я если поехал, так знаю: худо-бедно – доеду. А ты навернесся с этого своо ираплана – костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться – он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступает за Новое – за аэропланы, учение, город, книги, кино...

Странно, но старик в бога тоже не верит.

– Делать нечего – и начинают заполошничать, кликуши, – говорит он про верующих. – Робить надо, вот и благодать настанет.

Но работать – это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку – кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

– У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, – сказал однажды Юрка в сердцах. Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

– Ставай, пролятый заклеменный!.. – И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: – Ты ба, наверно, комиссаром у их был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

– Не пролятый, а – проклятьем, – поправил он.
– Насчет уклона-то... смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть.

– Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге,

– Чего у вас говорят про его?

– Про кого?

– Про бога-то,

– Да ничего не говорят – нету его.

– А почему тогда столько людей молятся?

– А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь.

– Сравнил! Я – матерюсь.

- Все равно – в бога.
Старик в затруднении.
- Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все споминают, стало быть, и мне можно.
- Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.
- Отлегло малость, в креста мать, – говорит старик. – Прямо в голове все помутнело.
Юрка не хочет больше разговаривать – надо выучить уроки.
- Про кого счас проходишь?
- Астрономию, – коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.
- Это про што?
- Космос. Куда наши космонавты летают.
- Гагарин-то?
- Не один Гагарин... Много уж.
- А чего они туда летают? Зачем?
- Привет! – воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. – Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?
- Што ты привязался с этой печкой? – обиделся старик. – Доживи до моих годов, тогда вякай.
- Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? – это я тебе скажу...
- Ну и растолкуй. Для чего же тебя учат? Штоб ты на стариков злился?
- Ну во-первых: освоение космоса-это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время – долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно доглядеть на них?..
- Они такие же, как мы?
- Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая – больше давит.
- Ишо драться кинутся,
- За что?
- Ну, скажут: зачем прилетели? – Старик заинтересован рассказом. Непрошенный гость хуже татарина.
- Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, кто из нас умнее – может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим... – Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе. – Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.
- Жениться, што ли, друг на дружке будете?
- Я говорю – в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет – рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки – пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну – они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить – лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет – и через какое-то время икс ты у дочери... А внук... ему сколько?
- Восьмой, однако,
- Внук тебе почитает "Войну и мир", потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста – ста двадцати лет жить.
- Ну, это уж ты... приврал.
- Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет-это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.
- А сами-то не можете – чтоб на сто двадцать?

– Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство...

– Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

– Ты не захочешь, а другие – с радостью. Будет такое средство...

– "Средство"... Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство – и то ладно. А то башка, как этот... как бачок из-под самогона,

– Не надо пить.

– Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

– У вас только одно на языке: "будет! будет!.." – опять начал старик, Трепачи. Ты вот – шешнацать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чего ты ему сделаешь?

– Вырежу чего-нибудь.

– Дак если ему срок подошел помирать, чего ты ему вырежешь?

– Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.

– Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

– Нечего?.. А вот эти люди!.. – сгреб кучу книг и показал, – Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

– Там читать нечего – вранье одно.

– Ладно! – Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. – Чума раньше была?

– Холера?

– Ну, холера.

– Была. У нас в двадцать...

– Где она сейчас? Есть?

– Не приведи господи! Может, будет ишо...

– В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?

– Сбесился бы.

– И помер. А сейчас – сорок уколов, и вер. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода – и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! "Вранье"... Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.

Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.

– Так. Допустим. Собака – это ладно, А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет – и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.

– Укус был не смертельный. Вот и все.

– Иди подставь: пусть она разок чикнет куда-нибудь....

– Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет – я только улыбнуть.

– Хвастунишка.

– Да вот же они, во-от! – Юрка опять показал книги. – Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает,

– Как это?

– Так. "Вот, – говорит, – сейчас у меня холодеют ноги – записывайте". Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: "Руки отнялись".

– Они пишут?

– Пишут, Потом сердце стало останавливаться, он говорит: "Пишите". Они плакали и писали, – У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.

– Ну?..

– И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... "Раньше было! Раньше было!" Вот так было раньше?! – Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. – Где она? Ее же нет здесь!

– Кого?

– Этой... кто поет-то.

– Дак это по проводам...

– Это – радиоволны! "По проводам". По проводам – это у нас здесь, в деревне, только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет – что, туда провода протянуты?

– Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят.

Юрка махнул рукой:

– Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.

– Ну и учи.

– А ты меня отрываете. – Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.

Долго в избе было тихо.

– Он есть на карточке? – спросил старик.

– Кто?

– Тот ученый, помирал-то который.

– Академик Павлов? Вот он,

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

– Старенький уж был.

– Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые. Юрка отнял книгу. – И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система – это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

– С похмелья, я без Павлова знаю.

– С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она... распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого, – Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. – Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте. Пошел домой... И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

– Я хуже маяться буду.

– Раз помаешься, два, три – потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами сигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

– Ох, мать твою... Кххх!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик кряхтя слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы. "Куда это он?" – подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

– Хлеб-то есть? – спросил строго.

– Есть. А что?

– На, поешь с салом, а то загнешся загодя со своими академиками... пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

– Мне же нечем отдавать будет – у нас нету...

– Ешь. Там чайник в печке – ишо горячий, наверно... Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

– Как сало-то?

– Вери вел! Первый сорт.

– Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью – получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот – маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следовало, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать... Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь...

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

– Ох, здорово! Спасибо.

– Наелся?

– Ага. – Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось.– А это куда?

– Вынеси в сени, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

– Теперь голова лучше будет соображать... А то... это... сидишь – маленько кружится.

– Ну вот,– сказал довольный дед, укладываясь опять на спину.– Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

– Может, я пойду куплю четвертинку! – предложил Юрка.

Дед помолчал.

– Ладно... пройдет так. Потом, попозже, курям посыплешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь!

– Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее... галопом.– Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы – вечером можно на лыжах покататься.

– А у его чего же родных-то никого, што ли, не было? – спросил вдруг старик.

– У кого? – не понял Юрка.

– У того академика-то. Одни студенты стояли?

– У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

– Дети-то были, поди?

– Наверно. Завтра узнаю.

– Были, конечно. Никого если бы не было родных-то, не много надиктуешь. Одному-то плохо,

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

– Конечно,– согласился он.– Одному плохо.

Крепкий мужик

В третьей бригаде колхоза "Гигант" сдали в эксплуатацию новое складское помещение. Из старого склада – из церкви – вывезли пустую вонючую бочкотару, мешки с цементом, сельповские кули с сахаром-песком, с солью, вороха рогожи, сбрую (коней в бригаде всего пять, а сбруи нашито на добрых полтора десятка; оно бы ничего, запас карман не трет, да мыши окаянные... И дегтярилин, и химией обсыпали сбрую – грызут), метла, грабли, лопаты... И осталась она пустая, церковь, вовсе теперь никому не нужная. Она хоть небольшая, церковка, а оживляла деревню (некогда сельцо), собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ.

Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней, подумал... Подошел к стене, поколупал кирпичи подвернувшимся ломиком, закурил и пошел домой. Встретившись

через два дня с председателем колхоза, Шурыгин сказал:

– Церква-то освободилась теперь...

– Ну.

– Чего с ней делать-то?

– Закрой, да пусть стоит. А что?

– Там кирпич добрый, я бы его на свинарник пустил, чем с завода-то возить.

– Это ее разбирать – надо пятерым полмесяца возиться. Там не кладка, а литье. Черт их знает, как они так клали!

– Я ее свалю.

– Как?

– Так. Тремя тракторами зацеплю – слетит как миленькая,

– Попробуй.

В воскресенье Шурыгин стал пробовать. Подогнал три могучих трактора... На разной высоте обвели церковку тремя толстыми тросами, под тросы – на углах и посреди стены – девять бревен...

Сперва Шурыгин распоряжался этим делом, как всяким делом, – криливо, с матерщиной. Но когда стал сбегаться народ, когда кругом стали ахать и охать, стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным деятелем с неограниченными полномочиями. Перестал материться и не смотрел на людей – вроде и не слышал их и не видел.

– Николай, да тебе велели али как? – спрашивали. – Не сам ли уж надумал?

– Мешала она тебе?!

Подвыпивший кладовщик, Михаиле Беляков, полез под тросами к Шурыгину.

– Колька, ты зачем это?

Шурыгин всерьез затрясся, побелел:

– Вон отсудова, пьяная харя!

Михаиле удивился и попятился от бригадира. И вокруг все удивились и примолкли. Шурыгин сам выпивать горазд и никогда не обзывался "пьяной харей", что с ним?

Между тем бревна закрепили, тросы подровняли... Сейчас взревет тракторы, и произойдет нечто небывалое в деревне – упадет церковь. Люди постарше все крещены в ней, в пей отпевали усопших дедов и прадедов, как небо привыкли видеть каждый день, так и ее...

Опять стали раздаваться голоса:

– Николай, кто велел-то?

– Да сам он!.. Вишь, морду воротит, черт.

– Шурыгин, прекрати своевольничать!

Шурыгин – ноль внимания. И все то же сосредоточенное выражение на лице, та же неподкупная строгость во взгляде. Подтолкнули из рядов жену Шурыгина, Кланьку... Кланька несмело – видела: что-то непонятное творится с мужем – подошла.

– Коль, зачем свалить-то хочешь?

– Вон отсудова! – велел и ей Шурыгин. – И не лезь!

Подошли к трактористам, чтобы хоть оттянуть время – побежали звонить в район и домой к учителю. Но трактористам Шурыгин посулил по бутылке на брата и наряд "на исполнение работ".

Прибежал учитель, молодой еще человек, уважаемый в деревне.

– Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..

– Не суйтесь не в свое дело, – сказал Шурыгин.

– Это мое дело! Это народное дело!.. – Учитель волновался, поэтому не мог найти сильные, убедительные слова, только покраснел и кричал: – Вы не имеете права! Варвар! Я буду писать!..

Шурыгин махнул трактористам... Моторы взревели. Тросы стали натягиваться. Толпа негромко, с ужасом вздохнула. Учитель вдруг сорвался с места, забежал с той стороны

церкви, куда она должна была упасть, стал под стеной.

– Ответишь за убийство! Идиот...

Тракторы остановились.

– Уйди-и! – заревел Шурыгин. И на шее у него вспухли толстые жилы.

– Не смей трогать церковь! Не смей!

Шурыгин подбежал к учителю, схватил его в беремя и понес прочь от церкви. Щуплый учитель вырывался как мог, но руки у Шурыгина крепкие.

– Давай! – крикнул он трактористам,

– Становитесь все под стену! – кричал учитель всем. – Становитесь!.. Они не посмеют!

Я поеду в область, ему запретят!..

– Давай, какого!.. – заорал Шурыгин трактористам.

Трактористы усунулись в кабины, взяли за рычаги.

– Становитесь под стену! Становитесь все!..

Но все не двигались с места. Всех парализовало неистовство Шурыгина. Все молчали. Ждали,

Тросы натянулись, заскрипели, затрещали, зазвенели... Хрустнуло одно бревно, трос, врезавшись в угол, запел балалаечной струной. Странно, что все это было хорошо слышно – ревели же три трактора, напрягая свои железные силы. Дрогнул верх церкви... Стена, противоположная той, на какую сваливали, вдруг разодралась по всей ширине... Страшная, черная в глубине, рваная щель на белой стене пошла раскрываться. Верх церкви с маковкой поклонился, поклонился и ухнул вниз.

Шурыгин отпустил учителя, и тот, ни слова не говоря, пошел прочь от церкви, Два трактора еще продолжали скрести гусеницами землю. Средний по высоте трос прорезал угол и теперь без толку крошил кирпичи двух стен, все глубже врезаясь в них. Шурыгин остановил тракторы. Начали по-новой заводить тросы. Народ стал расходиться. Остались самые любопытные и ребятишки. Через три часа все было кончено. От церкви остался только невысокий, с неровными краями остов. Церковь лежала бесформенной грудой, прахом. Тракторы уехали.

Потный, весь в пыли и известке, Шурыгин пошел звонить из магазина председателю колхоза.

– Все, угорела! – весело закричал в трубку.

Председатель, видно, не понял, кто угорел.

– Да церква-то! Все, мол, угорела! Ага. Все в порядке. Учитель тут пошумел малость... Но! Учитель, а хуже старухи. Да нет, все в порядке. Гробанулась здорово! Покрошилось много, ага. Причем они так: по три, по четыре кирпича – кусками. Не знаю, как их потом долбать... Попробовал ломиком – крепкая, зараза. Действительно, литье! Но! Будь здоров! Ничего.

Шурыгин положил трубку. Подошел к продавщице, которую не однажды подымал ночами с постели – кто-нибудь приезжал из района рыбачить, засиживались после рыбалки у бригадира до вторых петухов.

– Видела, как мы церкву уговорили? – Шурыгин улыбался, довольный,

– Дурацкое дело нехитрое, – не скрывая злости, сказала продавщица.

– Почему дурацкое? – Шурыгин перестал улыбаться,

– Мешала она тебе, стояла?

– А чего ей зря стоять? Хоть кирпич добудем...

– А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот!

– Халява! – тоже обозлился Шурыгин. – Не понимаешь, значит, помалкивай.

– Разбуди меня еще раз посередине ночи, разбуди, я те разбужу! Халява... За халяву-то можно и по морде получить, Дам вот сейчас гирькой по кумполу, узнаешь халяву.

Шурыгин хотел еще как-нибудь обозвать дуру продавщицу, но подошли вездесущие бабы.

– Дай бутылку.

– Иди промочи горло-то,-заговорили сзади.– Пересохло.

– Как же – пыльно!

– Руки чесались у дьявола...

Шурыгин поглядывался строго на баб, но их много, не перекричать. Да и злость их – какая-то необычная: всерьез ненавидят. Взял бутылку, пошел из магазина. На пороге обернулся, сказал:

– Я вам прижму хвосты-то!

И скорей ушел.

Шел, злился: "Ведь все равно же не молились, паразитки, а теперь хай устраивают. Стояла – никому дела не было, а теперь хай подняли".

Проходя мимо бывшей церкви, Шурыгин остановился, долго смотрел на ребяташек, копавшихся в кирпичках. Смотрел и успокаивался. "Вырастут, будут помнить: при нас церкву свалили. Я вон помню, как Васька Духанин с нее крест своротил. А тут – вся грохнулась. Конечно, запомнят. Будут своим детишкам рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и...– Вспомнилась некстати продавщица, и Шурыгин подумал зло и непреклонно: – И нечего ей стоять, глаза мозолить".

Дома Шурыгина встретили форменным бунтом: жена, не приготовив ужина, ушла к соседкам, хворая мать заругалась с печки:

– Колька, идол ты окаянный, грех-то какой взял на душу!.. И молчал, ходил молчал, дьяволина... Хоть бы заикнулся раз – тебя бы, может, образумили хорошие люди. Ох горе ты мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди. Проклянут ведь тебя, прокляну-ут! И знать не будешь, откуда напасти ждать: то ли дома окочурисся в одночасье, то ли где лесинкой прижмет невзначай...

– Чего эт меня проклинать-то возьмутся? От нечего делать?

– Да грех-то какой!

– Ваську Духанина проклинали – он крест своротил? Наоборот, большим человеком стал...

– Тада время было другое. Кто тебя счас-то подталкивал – рушить ее? Кто? Дьявол зудил руки... Погоди, тебя ишо сама власть взгреет за это. Он вот, учитель-то, пишет, сказывали, он вот напишет куда следоват – узнаешь. Гляди-ко, тогда устояла, матушка, так он теперь нашелся. Идол ты лупоглазый,

– Ладно, лежи хворай.

– Глаз теперь не кажи на люди...

– Хоть бы молиться ходили! А то стояла – никто не замечал...

– Почто это не замечали! Да, бывало, откуда ни идешь, а ее уж видишь. И как ни пристанешь, а увидишь ее – вроде уж дома. Она сил прибавляла...

– Сил прибавляла... Ходят они теперь пешком-то! Атомный век, понимаешь, они хватились церкву жалеть. Клуба вон нету в деревне – ни один черт ни охнет, а тут – загоревали. Переживут!

– Ты-то переживи теперь! Со стыда теперь усохнешь...

Шурыгин, чтобы не слышать ее ворчанья, ушел в горницу, сел к столу, налил сразу полный стакан водки, выпил. Закурил. "К кирпичам, конечно, ни один дьявол не притронется,– подумал.– Ну и хрен с ними! Сгребу бульдозером в кучу и пусть крапивой зарастает".

Жена пришла поздно. Шурыгин уже допил бутылку, хотелось выпить еще, но идти и видеть злую продавщицу не хотелось – не мог. Попросил жену:

– Сходи возьми бутылку.

– Пошел к черту! Он теперь дружок тебе,

– Сходи, прошу...

– Тебя просили, ты послушал? Не проси теперь и других. Идиот.

– Заткнись, Туда же...

– Туда же! Туда же, куда все хорошие люди! Неужели туда же, куда ты, харя

необразованная? Просили, всем миром просили – нет! Вылупил шары-то свои...

– Замолчи! А то опояшу разок...

– Опояшь! Тронь только, харя твоя бесстыжая!.. Только тронь!

"Нет, это, пожалуй, на всю ночь. С ума посходили все".

Шурыгин вышел во двор, завел мотоцикл... До района восемнадцать километров, там магазин, там председатель колхоза. Можно выпить, поговорить. Кстати, рассказать, какой ему тут скандал устроили... Хоть посмеяться.

На повороте из переулка свет фары выхватил из тьмы безобразную грудку кирпича, пахло затхлым духом потревоженного подвала.

"Семнадцатый век, – вспомнил Шурыгин. – Вот он, твой семнадцатый век! Писать он, видите ли, будет. Пиши, пиши".

Шурыгин надал газку... и пропел громко, чтобы все знали, что у него – от всех этих проклятий-прекрасное настроение:

Что ты, что ты, что ты, что ты!

Я солдат девятой роты,

Тридцать первого полка...

Оп, тирдар-пупия!

Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра. Шурыгин уважал быструю езду.

Шире шаг, Маэстро

Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила:

– Солодовников, напишу маме!

Солодовников смущался; Анна Афанасьевна (Анфас – называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, которых судьба тоже растолкала по таким же углам; они еще писали друг другу, жаловались и острили) приходила в мелкое движение – смеялась. Молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодой врача, молодого донжуана. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его – нравиться людям – пропадает зря: Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль; дай бог ей впредь и всегда добывать для больницы спирт, камфару, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит, Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. "Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию, – писал он как-то товарищу своему. – Хотел большую подкожную загнать в руку – начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но... и но: струсил. Нет, не то: зрителей нет, вот что. Хучь бей меня, хучь режь меня – я актер. А моя драгоценная Анфас – не аудитория. Нет".

Солодовников спешил. Мысленно он уже проиграл утреннюю сцену с Анной Афанасьевной: он нахмурится виновато, сунется к часам... Вообще он после таких сенок иногда чувствовал себя довольно погано. "Гадкая натура, – думал. – Главное, зачем! Ведь даже не во спасение, ведь не требуется!" Но при этом испытывал и некое приятное чувство, этакое дорогое сердцу успокоение, что – все в порядке, все понятно, дело мужское, неженатое.

Солодовников взбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придержал ее, чтоб не грохнула... И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре, И когда раздевался, увидел на белой стене, противоположной окну, большой – в окно – желтый квадрат. Свет. Солнце... И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании, этот квадратный желтый пожар, – весна! На дворе желанная, милая весна, Летел по улице, хрустел ледком, думал черт знает о чем, не заметил, что – весна. А теперь... даже остановился с пальто в

руках, засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость – какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость – толкнулась в грудь Солодовникова. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорей захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном; вот – весна, надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего двадцать четыре года, впереди целая жизнь, надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть, много, и радостно, И весна. Надо начать жить крупно.

Солодовников прошел в свой кабинетик (у него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик), сел к столу и задумался, Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет.

Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас – с весной, светом – в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя... И невольно стал вслушиваться и в звуки за окном: на жесть подоконника с сосуллек, уже обогретых солнцем, падали капли, и мокрый шлепающий звук их, такой неожиданный, странный в это ясное, солнечное утро с легким морозцем, стал отзываться в сердце – каждым громким шлепком – радостью же. Нет, надо все сначала, думал Солодовников. Хватит, Хорошо еще, что институт закончил, пока валял дурака, у других хуже бывает. Он верил, что начнет теперь жить крупно – самое время, весна: начало всех начал. Отныне берем все в свои руки, хватит. Двадцать пять плюс двадцать пять – пятьдесят. К пятидесяти годам надо иметь... кафедру в Москве, свору учеников и огромное число работ. Не к пятидесяти, а к сорока пяти. Придется, конечно, поработать, но... почему бы не поработать!

Солодовников встал, прошелся по кабинету. Остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля... Огромная жизнь. Но – шаг пошире, пошире шаг, маэстро! Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход – вот отсюда, от этой весны.

Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке:

Отныне буду так:
Холодный блеск ума,
Как беспощадный блеск кинжала:
Удар – закон.
Удар – конец.
Удар – и все сначала.

Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинету. Закурил. Его поразило, что он написал стихи. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их писать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи... Хм. Может, они, конечно, того... нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи, это своеобразная программа, что ли, сформулировалась такими вот словами. Он еще прошелся по кабинету... Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга: "Удар-конец. Удар-и все сначала". Что сначала: новый язвенник? Ничего... Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Но их надо сохранить: так – смешно и наивно – начиналась большая жизнь. Солодовников спрятал книжечку. Если к пятидесяти годам не устать, как... лошади, и сохранить чувство юмора, то их можно потом и вспомнить.

А за окном все шлепало и шлепало в подоконник. И заметно согрелось окно, Весна работала. Солодовников почувствовал острое желание действовать.

Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: "Шире шаг, маэстро!"

Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе.

Они кивнули друг другу.

– Я понимаю, Николай Васильевич, – любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку, – я

вас прекрасно понимаю... Да. Да!.. Пятнадцать листов.

"Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич", – съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку.

Не зло съязвил, легко – от избытка доброй силы. Не терпелось скорей заговорить с Анной Афанасьевной.

– Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич!.. Хорошо. Бу сделано! – Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение – засмеялась беззвучно. – Я в долгу не останусь. До свиданья! Нет, не у нас, не у нас... Что вы все боитесь нас, как... не знаю... До свиданья – на нейтральной почве! В ресторане? – Анфас опять вся заколебалась. – Ну, посмотрим. Ну, лады! Всего,

"Господи-весь юмор: "бу сделано", "лады", – удивился Солодовников. – И не жалко времени – болтать! Тут теперь каждая минута дорога".

– Ну-с, Георгий Николаевич... – Анна Афанасьевна весело и значительно посмотрела на Солодовникова.

– Да здравствует листовое железо! – тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза.

– В смысле? – спросила та.

– В смысле: у нас будет самодельный холодильник. – Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача... Качнулся с носков на пятки. И соврал. Крупно. Неожиданно.

– Начал писать работу, Анна Афанасьевна. "Письма из глубинки. Записки врача". Это как-то случилось само собой-эти "Письма из глубинки". И Солодовникова опять поразило: это же ведь то, что нужно! С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не "удар-закон". Нет, это реально, умно, точно: это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы. В форме писем к Другу "Н". Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника – глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, – и легко, вскользь – весна... Но конечно же главным образом работа, работа, работа. Изнуряющая. Радостная. Смелая. Подвижническая. Любовь населения... Уважение. Ночные поездки. Аутотрансплантация. Прободная в условиях полевого стана. Благодарность старушки, ее смешная, искренняя молитва за молоденького неверующего врача... Все это сообразилось в один миг, вдруг, отчетливо, с радостью. Солодовников повернулся к Анне Афанасьевне... Да, тут, конечно, и заботливая, недалекая хлопотунья Анна Афанасьевна, главврач... Которая, прочитав "Записки" в рукописи, скажет, удивленная: "Прямо как роман!" – "Ладно, а как врачу вам это интересно?" – "Очень! Тут же есть просто уникальные случаи!" – "А за себя... не в обиду на автора?" – "Да нет, чего обижаться? Все правда".

– Что, Анна Афанасьевна?

– Уже начали писать? – спросила Анна Афанасьевна. – Записки-то. Поэтому и опоздали?

– Поэтому и опоздал, – Солодовников обиделся на главврача: солдафон в юбке, одно листовое железо в голове. – Извините, – сухо добавил он, больше этого не случится. – Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. "Все, – подумал он. – Хватит. Пора кончать эти... ужимки и прыжки". Вспомнил свое стихотворение.

– Какой-то вы сегодня странный.

– Что с этим язвенником, с трактористом? – спросил Солодовников. – Будем оперировать?

Анна Афанасьевна больше того удивилась:

– Зубова? Здрате, я ваша тетя: я его два дня назад в район отправила. Вы что?

– Почему?

– Потому что вы сами просили об этом, поэтому. Что с вами?

– Да, да, – вспомнил Солодовников. – А эта девушка с мениском?

– С мениском лежит... Хотите оперировать?

– Да,– твердо сказал Солодовников.– Сегодня же.

Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее – как-то несколько задумчиво, чуть прищурился.

– Так,– молвила Анна Афанасьевна.– Ну, что же... Только вот какое дело, Георгий Николаевич: сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа... Причем, это такой человек, что его надо ловить на слове: завтра железа у него не будет, надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске. Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился:

– Хорошо.

Первая глава в "Записках" будет... о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу.

– Что все-таки с вами такое? – опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться.– Серьезная любовь?

Солодовников в свою очередь с любопытством посмотрел на главврача:

– Вы ничего не замечаете? Что происходит на земле...

Анна Афанасьевна даже выглянула в окно.

– Что происходит? Не понимаю...

– Не во дворе у нас, вообще на земле.

– Война во Вьетнаме...

– Нет, я не про то. Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо! Куда надо идти?

– Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Ненароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего, там дадут, я договорилась. Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя. Это действительно надо сделать, я давно обещала. Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич. Любовь, да?

– Разрешите идти? – Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой.

– Разрешаю.

Солодовников вышел к коридору... Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял... "Время идет", подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало: "Началось мое время. Сдвинулось!"

В кабинетике он опять достал записную книжку и записал:

"Сегодня утром я спросил мою уважаемую Анфас: "Что происходит на земле?" Анфас честно выглянула в окно... Подумала и сказала: "Война во Вьетнаме". "А еще?" Она не знала. А на земле была Весна".

Это-начало первой главы "Записок". Солодовникову оно понравилось. С прозой он, очевидно, в лучших отношениях. Да, с этого дня, с этого утра время работает на него. На книге, которую он подарит Анне Афанасьевне, он напишет: "Фоме неверующему-за добро и науку. Автор".

Вот и все. Ну, а теперь-листовое железо!

В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было.

– Вы, это, заехайте за ним, он живет... вот так вот улица повернет от сельпо в горку, а вы...

Солодовников поехал один в Образцовку. "Черт с ним, с рабочим, один погружу". Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил, да Солодовников и не торопил его. Санная езда кончалась; как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням; от копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях

было голо, Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтоб раскинуть ее и развалиться бы на ней, как, он видел, делают мужики.

На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку. Перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать, стараясь захватить побольше... И тут услышал сзади злой окрик:

– Э-т-то что за елкина мать?! Кто разрешил?

Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе, без шапки. Нес в руке березовый колышек.

– Я хотел под бок себе... – поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. – Немного – вот столько – под бок хотел положить...

– А по бокам не хотел? Стяжком вот этим вот... Под бок он хотел! Опояшу вот разок-другой...

– Я врач ваш! – совсем испуганно воскликнул Солодовников. – Мне немного надо-то было... Господи, из-за чего шум?

– Врач... – Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. – Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себе дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездют...

Мужик явно теперь узнал врача, но оттого, что он тем не менее отчитал его, как школяра, Солодовников очень обиделся.

– Да не надо мне вашего сена, господи! Я немного и хотел-то... под бок немного... Не надо мне его! – Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колена в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что – со стороны посмотреть – вовсе глупо: шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.

– Возьми сена-то! – крикнул мужик. – Чего же пустой пошел?

– Да не надо мне вашего сена! – чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись. – Вы же убьете, чего доброго, из-за охапки сена!

Мужик молча глядел на него.

Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. В какой-то статье он прочитал у какого-то писателя, что "идиотизма деревенской жизни" никогда не было и конечно же нет и теперь. "Сам идиот, поэтому и идиотизма нет и не было", – зло подумал он про писателя.

Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь саднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял и раздумал, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги.

Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще неплохое продолжение первой главы "Записок". Только с юмором надо как-то... осторожнее, что ли. При чем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудной, повседневной, нормальной, если хотите, жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неудобно, неудобно было в жестких, холодных санях.

Николай Васильевич Ненароков, человек нестарый, сорокалетний, но медлительный (нарочно, показалось Солодовникову), рассудительный... Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края (по распределению?), собирается ли оставаться здесь после обязательных трех лет... Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил:

– Вы дадите железо?

– А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно... У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский, вот я и прошупываю, так сказать, почву. Конкурс большой?

– Да, с каждым годом больше.

– Вот,– решил директор.– Нечего и соваться. Есть сельскохозяйственный – прямая дорога. Верно? Специалисты позарез нужны, без работы не будет.

Солодовников пожал плечами:

– Но если человек хочет...

– Мало ли чего мы хотим! Я, может, хочу... – Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, "может, хочет". Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову:

– Вот – на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете. Он небось с похмелья.

– Насчет лекции... Анна Афанасьевна просила передать...

Директор махнул рукой:

– Толку-то от этих лекций! Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню – приезжайте.

– Зачем? – не понял Солодовников.

– Ну, лекцию-то читать.

– А при чем тут картина?

– А как людей собрать? Перед картиной и прочтаете. Иначе же их не соберешь, Что?

– Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию.

– Не соберутся,– просто, без всякого выражения сказал директор.– Значит, Морозова спросите, завскладом.

Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест:

– Пятнадцать листов?! А где? У меня их нету. – Он вернул записку. И при этом пытливо посмотрел на врача. – Откуда они у меня?

– Как же?-растерялся Солодовников.-Они же договорились...

– Кто?

– Главврач и ваш директор.

– Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет.– Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача, а чего, Солодовников никак не мог понять.– А то они шибко скорые: Морозов, выдай, Морозов отпусти... А у Морозова на складе – шаром покати. Тоже мне, понимаешь...

– Как же быть? – спросил Солодовников.

– Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза "Заря", они приедут за ним.– Морозов простуженно, со свистом покашлял в кулак... И опять глянул на врача.– Простыл, к черту, доверительно, совсем не сердито сказал он.– Крутишься день-деньской на улице... Впору к вам ехать – лечиться. Только теперь сообразил Солодовников, что Морозов хочет опохмелиться,

– Нет железа?

– Есть. Для других. Для вас – нету.

– А телефон тут есть где-нибудь?

– Зачем?

– Я позвоню директору. Что это такое, в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий субъект и корчит из себя черт знает что! Где телефон?

Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа:

– А полегче, например,– это как, можно? Без гонора. Мм?

– Где телефон?! – крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахрапистости.– Я вам покажу гонор. И кое-что еще! Мы найдем железо... Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон?

Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь – там было листовое железо.

– Отсчитывайте пятнадцать листов,– спокойно сказал Морозов,– а мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.

– Солодовников Георгий Николаевич.

Морозов записал.

– За субъекта... как вы выразились, придется ответить.

– Отвечу,
– Если всякие молокососы будут приезжать и обзывать...
– За молокососа тоже придется ответить. Вы на что намекаете? Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?

– Ничего, ничего, – сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал. Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани. Морозов стоял рядом, считал.

– Привет тете, – сказал Солодовников, отсчитав пятнадцать листов. И поехал. Морозов закрывал штабель. На Солодовникова не оглянулся,

Солодовников поехал с хорошим настроением... Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней, на железе – совсем холодно.

Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла, и лошадь всерьез напрягалась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней,

"Вот так и надо! – удовлетворенно думал Солодовников. – В дальнейшем будет только так". Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом.

Но – то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек – радость и удовлетворение почему-то оставили Солодовникова. Стал безразличен хороший солнечный день, даль неоглядная, где распахнулась во всю красу мокрая весна, – стали безразличны все эти запахи, звуки, пятна... Ну, весна, ну, что же теперь – козлом, что ли, прыгать? Куда как приятнее и веселее вечером. Вечером они уговорились – компанией в пять-шесть человек – играть в фантики и целоваться. Будет музыка, винишко... Будет там эта курносенькая хохотушка, учительница немецкого языка... Она хохотушка-то хохотушка, но умна, черт бы ее побрал, читала много, друзей интересных оставила в городе. Тут что-то такое... сердчишко у врача вздрагивает. Вздрагивает, чего там. Малость она, правда, вульгаритэ: носик. К тридцати годам носик этот самый на лоб ползет. Курносые предрасположены к полноте. Но где они еще, эти ее тридцать пять – сорок лет! Солодовников подстегнул кобылку.

Пока он сгрузил в больницу железо и пока отвел лошадь в сельсовет и опять вернулся в больницу, прошло много времени. Солодовников чувствовал, что устал. Руки тряслись. Он умылся в кабинетике, хотел пойти посмотреть девушку с мениском, но решил, что завтра с утра. Вошла уборщица и сказала, что там названивают без конца, а Анны Афанасьевны нету,

– Ну и что? Скажите, что ее нету.

– Может, вы послушаете. Они там говорят: кто есть, мол.

Солодовников пошел в кабинет главврача, посидел у телефона, дождался, когда он затрещал, снял трубку.

– Больница. Солодовников... Она в районе... А-а, это вы? Получил, получил. Пятнадцать листов, все в порядке. Спасибо... Лекцию?.. Нет, сегодня не получится. Нет. Я не смогу... занят, а Анна Афанасьевна... не знаю, когда она придет. Нет, я занят. Я оставлю ей записку... Во сколько сеанс-то? Я напишу ей. До свиданья.

Солодовников положил трубку, посидел... И все-таки пошел в палату к девушке с мениском. Посмотрел ее ногу, поговорил с девушкой, с удовольствием похлопал ее по румяной щеке, пошутил. Поговорил с другими больными, послушал их справедливые, скучные слова. Сказал, что на дворе – весна. И ушел. Вошел опять в свой кабинетик, посмотрел на часы – без пятнадцати три, можно отчаливать. Он снял халат, поправил перед зеркалом галстук... Закурил, Нашупал в кармане записную книжку, хмыкнул, вспомнив про стихи, не стал их перечитывать, бросил книжечку в стол, подальше. И пошел из больницы.

Шел опять той дорогой, какой шел утром, старательно обходил лужи... Здравовался со встречными – вежливо, с достоинством (он поразительно скоро и незаметно как-то научился достоинству), но ни с кем не заговаривал.

"Нет, в курносенькой что-то есть, – думал Солодовников. – Определенно что-то есть. Но

пожалуй, слишком уж серьезно к себе относится – это при том, что неумолимая хохотушка. Бережет себя... Так – раззадорить можно, но не больше того. Нет, не больше".

Мастер

Жил-был в селе Чебровка Семка Рысь, забулдыга, но непревзойденный столяр. Длинный, худой, носатый – совсем не богатырь на вид. Но вот Семка снимает рубаху, остается в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то видна вся устрашающая сила и мощь Семки. Она – в руках... Руки у Семки не комкастые, не бугристые, они ровные от плеча до кисти, толстые, словно литые. Красивые руки. Топорик в них – игрушечный. Кажется, не зная таким рукам усталости, и Семка так, для куража, орет:

– Что мы тебе, машины? Тогда иди заведи меня – я заглох. Но подходи осторожней – лягаюсь!

Семка не злой человек. Но ему, как он говорит, "остолбенело все на свете", и он транжирит свои "лошадиные силы" на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь, – милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, полтора года в рот не брал, потом заскучал и снова стал поддавать.

– Зачем же, Семка? – спрашивали.

– Затем, что так – хоть какой-то смысл есть, Я вот нарежусь, так? И неделю хожу – вроде виноватый перед вами. Меня не тянет как-нибудь насолить вам, я тогда лучше про вас про всех думаю. Думаю, что вы лучше меня. А вот не пил полтора года, так насмотрелся на вас... Тьфу! И потом: я же не валяюсь каждый день под бочкой.

Пьяным он безобразен не бывал, не оскорблял жену – просто не замечал ее.

– Погоди, Семка, на запой наладишься, – страшали его. – Они все так, запойники-то: месяц не пьют, два, три, а потом все до нитки с себя спускают. Дождешься.

– Ну так, ладно, – рассуждал Семка, – я пью, вы – нет. Что вы такого особенного сделали, что вам честь и хвала? Работаю я наравне с вами, дети у меня обуты-одеты, я не ворую, как некоторые...

– У тебя же золотые руки! Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр в масле катался, если бы не пил-то.

– А я не хочу как сыр в масле. Склизко.

Он, правда, из дома ничего не пропивал, всю зарплату отдавал семье. Пил на то, что зарабатывал слева. Он мог такой шкаф "изладить", что у людей глаза разбегались. Приезжали издалека, просили сделать, платили большие деньги. Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, возил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались "подогнать" под деревенскую избу (писатель был из деревни, тосковал по родному).

– Во, дурные деньги-то! – изумлялись односельчане, когда Семка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме. Шестнадцатый век!

– На паркет настелили плах, обстругали их, и все – даже не покрасили. Стол – тоже из досок сколотили, вдоль стен – лавки, в углу – лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежит кошма и тулуп, и все. Потолок паяльной лампой закоптили – вроде по-черному топится. Стены горбылем обшили... Шестнадцатый век, – задумчиво говорил Семка. – Он мне рисунки показывал, я все по рисункам делал.

Когда Семка жил у писателя в городе, он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старые иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом.

В то же лето, как побывал Семка в городе, он стал приглядываться к церковке, которая стояла в деревне Талице, что в трех верстах от Чебровки. Церковка была закрыта давно. Каменная, небольшая, она открывалась взору вдруг, сразу за откосом, который огибала дорога в Талицу... По каким-то соображениям те давние люди не поставили ее на возвышении, как принято, а поставили внизу, под откосом. Еще с детства помнил Семка, что

если идешь в Талицу и задумаешься, то на повороте, у косогора, вздрогнешь – внезапно увидишь церковь, белую, изящную, легкую среди тяжелой зелени тополей.

В Чебровке тоже была церковь, но явно позднего времени, большая, с высокой колокольней. Она тоже давно была закрыта и дала в стене трещину. Казалось бы – две церкви, одна большая, на возвышении, другая спряталась где-то под косогором, – какая должна выиграть, если сравнить? Выигрывала маленькая, под косогором. Она всем брала: и что легкая, и что открывалась глазам внезапно... Чебровскую видно было за пять километров кругом – на то и рассчитывали строители. Талицкую как будто нарочно спрятали от праздного взора, и только тому, кто шел к ней, она являлась вся, сразу.

Как-то в выходной день Семка пошел опять к талицкой церкви. Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица – столько лет стоит! – молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали ее дожди, заносили снега... Но вот – стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители ее, давно стала прахом та умная голова, что задумала ее такой, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь – там заметят. Этого заботило что-то другое – красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душа. Милый, дорогой человек!.. Не знаешь, что и сказать тебе – туда, в твою черную жуткую тьму небытия, – не услышишь. Да и что тут скажешь? Ну – хорошо, красиво, волнует, радуется... Разве в этом дело? Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что – красиво. Что?.. Ничего. Умеешь радоваться – радуйся, умеешь радовать – радуй... Не умеешь – воюй, командуй или что-нибудь такое делай – можно разрушить вот эту сказку: подложить пару килограммов динамита – дроболызнет, и все дела. Каждому свое.

Смотрел, смотрел Семка и заметил: четыре камня вверху, под карнизом, не такие, как все, – блестят. Подошел поближе, всмотрелся – да, тот мастер хотел, видно, отшлифовать всю стену. А стена – восточная, и если бы он довел работу до конца, то при восходе солнца (оно встает из-за косогора) церковка в ясные дни загоралась бы с верхней маковки и постепенно занималась бы светлым огнем вся, во всю стену – от креста до фундамента. И он начал эту работу, но почему-то бросил, – может, тот, кто заказывал и давал деньги, сказал: "Ладно, и так сойдет".

Семка больше того заволновался – захотел понять, как шлифовались камни. Наверно, так: сперва грубым песком, потом песочком помельче, потом – сукном или кожей. Большая работа.

В церковь можно было проникнуть через подвал – это Семка знал с детства, не раз лазил туда с ребятней. Ход в подвал, некогда закрываемый створчатой дверью (дверь давно унесли), полуобвалился, зарос бурьяном... Семка с трудом протиснулся в щель и – где на червереньках, где согнувшись в три погибели – вошел в придел. Просторно, гулко в церкви... Легкий ветерок чуть шевелил отставший, вислый лист железа на маковке, и шорох тот, едва слышный на улице, здесь звучал громко, тревожно. Лучи света из окон рассекали затененную пустоту церкви золотыми широкими мечами.

Только теперь, обеспокоенный красотой и тайной, оглядевшись, обнаружил Семка, что между стенами и полом не прямой угол, а строгое, правильное закругление желобом внутрь. Попросту, внизу вдоль стен идет каменный прикладок – примерно в метре от стены у основания и в рост человеческого высотой. Наверху он аккуратно сводится на нет со стеной. Для чего – он, Семка, сперва не сообразил. Отметил только, что камни прикладка, хорошо отесанные и пригнанные друг к другу, внизу – темные, потом – выше – светлеют и вовсе сливаются с белой стеной. В самом верху купол, выложен из какого-то особенного камня, и он еще, наверно, шлифован – так светло, празднично там, под куполом. А всего-то четыре-узких-оконца...

Семка сел на приступку, стал думать: зачем этот каменный приладок? И объяснил себе так: мастер убрал прямые углы – разрушил квадрат. Так как церковка маленькая, то надо было создать ощущение свободы внутри, а ничто так не угнетает, не теснит душу, как клетка – квадрат. Он поэтому внизу положил камни потемней, а по мере того как поднимал приладок и выравнивал его со стеной, высветлял: стены, таким образом, как бы отодвинулись.

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой.

На другой день Семка, сказавшись больным, не пошел на работу, а поехал в райгородок, где была действующая церковь. Батюшку он нашел дома, неподалеку от церкви. Батюшка отослал сына, с которым учил географию, и сказал просто:

– Слушаю.

Темные, живые, даже с каким-то озорным блеском глаза нестарого еще попа смотрели на Семку прямо, твердо – он ждал.

– Ты знаешь талицкую церковь? – Семка почему-то решил, что с писателями и попами надо говорить на "ты". – Талица, Чебровского района.

– Талицкую?.. Чебровский район... Маленькая такая?

– Ну.

– Знаю.

– Какого она века?

Поп задумался.

– Какого? Боюсь, не соврать бы... Думаю, при Алексее Михайловиче еще... Сынок-то его не очень баловал народ храмами. Семнадцатый век, вторая половина, А что?

– Красота-то какая!.. – воскликнул Семка. – Как же вы так?

Поп усмехнулся:

– Слава богу, хоть стоит пока. Красивая, да. Давно не видел ее, но помню. Внизу, кажется?

– А кто делал, неизвестно?

– Это надо у митрополита узнать. Этого я не могу сказать.

– Но ведь у вас же есть деньги! Есть ведь?

– Ну, допустим.

– Да не допустим, а есть. Вы же от государства отдельно теперь...

– Ты это к чему?

– Отремонтируйте ее – это же чудо! Я возьмусь отремонтировать. За лето сделаю. Двух-трех помощников мне-до холодов сделаем...

– Я, дорогой мой, такие вопросы не решаю. У меня тоже есть начальство... Сходи к митрополиту! – Поп сам тоже заинтересовался. – Сходи, а чего! Ты веруешь ли?

– Да не в этом дело. Я, как все. Мне жалко – такая красота пропадает. Ведь сейчас же восстанавливают...

– Восстанавливает государство.

– Но у вас же тоже есть деньги!

– Ты сходи, сходи к митрополиту-то,

– А где он? Здесь разве?

– Нет, ехать надо.

– В область?

– В область.

– У меня с собой денег нет. Я только до тебя ехал.

– А я дам, ты откуда будешь-то?

– Из Чебровки, столяр, Семен Рысь...

– Вот, Семен, съезди-ка! Он у нас человек... умница... Расскажи ему все. Ты от себя только?

– Как "от себя"? – не понял Семка,

- Сам ко мне-то, или выбрали да послали?
- Сам.
- Ну все равно – съезди! А пока будешь ехать, я ему позвоню – он уже будет знать, что к нему, примет тебя.
- Семен подумал немного.
- Давай! Я потом тебе вышлю.
- Потом договоримся. От митрополита заехай снова ко мне, расскажешь.

Митрополит, крупный, седой старик, с неожиданно тоненьким голоском, принял Семку радушно.

– Звонил мне отец Герасим... Ну, расскажи, расскажи, как тебя надоумило храм ремонтировать?

Семка отхлебнул из красивой чашки горячего чая.

– Да как?.. Никак. Смотрю – красота. А никому не нужна!..

Митрополит усмехнулся:

– Красивая церковь, я ее знаю. При Алексее Михайловиче, да. Кто архитектор, пока не знаю... Можно узнать. А земли были бояр Борятинских... Тебе зачем мастера-то знать?

– Да так, интересно. С большой выдумкой человек,

– Мастер большой, потом выясним кто. Ясно, что он знал владимирские храмы, московские...

– Ведь до чего додумался!.. – И Семка стал рассказывать, как ему удалось разгадать тайну старинного мастера.

Митрополит слушал, кивал головой, иногда говорил: "Ишь ты!" А попутно Семка выкладывал и свои соображения: стену ту, восточную, отшлифовать, как и хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить цветные стекла – тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно с примесью слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...

– Все хорошо, все хорошо, сын мой, – перебил митрополит. – Вот скажи мне сейчас: разрешаем вам ремонтировать талицкую церковь. Назовите, кому вы поручаете это сделать. Я, не моргнув глазом, называю: Семен Рысь, столяр из Чебровки. Только... не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело.

– Почему?

– Я тоже спрошу: "Почему?" А они меня спросят: "А зачем?" Сколько дворов в Талице? Это уже я спрашиваю...

– Да в Талице-то мало...

– Дело даже не в этом. Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? Ты подумай-ка.

– Да не надо в ней молиться! Есть же всякие музеи...

– Вот музей-то – как раз дело государственное, не наше.

– И как же теперь?

– Я подскажу как. Напишите миром бумагу: так, мол, и так – есть в Талице церковь в запустении. Нам она представляется ценной не с точки зрения религии...

– Не написать нам сроду такой бумаги. Ты сам напиши,

– Я не могу. Найдите, кто сумеет написать. А то и-сами, своими словами... даже лучше.

– Я знаю! У меня есть такой человек! – Семка вспомнил про писателя.

– И с той бумагой – к властям. В облисполком. А уж они решат. Откажут – пишите в Москву... Но раньше в Москву не пишите, дождитесь, пока здесь откажут. Оттуда могут прислать комиссию...

– Она бы людей радовала-стояла!

– Таков мой совет. А что говорил с нами, про то не пишите. И не говори нигде. Это только испортит дело. Прощай, сын мой. Дай бог удачи.

Семка, когда уходил от митрополита, отметил, что живет митрополит – дай бог!

Домина – комнат, наверно, из восьми... Во дворе "Волга" стоит. Это неприятно удивило Семку. И он решил, что действительно лучше, пожалуй, иметь дело с властями. Эти попы темнят чего-то... И хочется им, и колется, и мамка не велит.

Но сперва Семка решил сходить к писателю. Нашел его дом... Писателя дома не было.

– Нет его, – резковато сказала Семке молодая полная женщина. И захлопнула дверь. Когда он отделывал здесь "избу XVI века", он что-то не видел этой женщины. Ему страсть как захотелось посмотреть "избу". Он позвонил еще раз.

– Я сама! – услышал он за дверью голос женщины. И дверь опять открылась...

– Ну? Что еще?

– Знаете, я тут отделывал кабинет Николая Ефимыча... охота глянуть...

– Боже мой! – негромко воскликнула женщина. И закрыла дверь. "По-моему, он дома, догадался Семка. – И по-моему, у них идет крупный разговор".

Он немного подождал в надежде, что женщина проговорится в сердцах: "Какой-то идиот, который отделывал твой кабинет", и писатель, может быть, выйдет сам. Писатель не вышел. Наверно, его правда не было.

Семка пошел в облисполком.

К председателю облисполкома он попал сразу и довольно странно. Вошел в приемную, секретарша накинулась на него:

– Почему же опаздываете?! То обижаются – не принимают, а то самих не дожدهшься. Где остальные?

– Там, – сказал Семка, – идут.

– Идут. – Секретарша вошла в кабинет, побыла там короткое время, вышла и сказала сердито: – Проходите.

Семка прошел в кабинет... Председатель пошел ему навстречу – здороваться.

– А шуму-то наделали, шуму-то! – сказал он хоть с улыбкой, но и с укоризной тоже. – Шумим, братцы, шумим? Здравствуйте!

– Я насчет церкви, – сказал Семка, пожимая руку председателя. – Она меня перепутала, ваша помощница. Я один... насчет церкви...

– Какой церкви?

– У нас, не у нас, в Талице есть церковь семнадцатого века. Красавица необыкновенная! Если бы ее отремонтировать, она бы... Не молиться, нет! Она ценная не с религиозной точки. Если бы мне дали трех мужиков, я бы ее до холодов сделал. – Семка торопился, потому что не выносил, когда на него смотрят с недоумением. Он всегда нервничал при этом. – Я говорю, есть в деревне Талице церковь, – стал он говорить медленно, но уже раздражаясь. – Ее необходимо отремонтировать, она в запустении. Это – гордость русского народа, а на нее все махнули рукой. А отремонтировать, она будет стоять еще триста лет и радовать глаз и душу.

– Мгм, – сказал председатель. – Сейчас разберемся. – Он нажал кнопку на столе. В дверь заглянула секретарша. – Попросите сюда Завадского. Значит, есть у вас в деревне старая церковь, она показалась вам интересной как архитектурный памятник семнадцатого века. Так?

– Совершенно точно! Главное, не так уж много там и делов-то: перебрать маковки, кое-где поддержать камни, может, растягу вмонтировать – повыше, крестом...

– Сейчас, сейчас... у нас есть товарищ, который как раз этим делом занимается. Вот он.

В кабинет вошел молодой еще мужчина, красивый, с волнистой черной шевелюрой на голове и с ямочкой на подбородке.

– Игорь Александрович, займитесь, пожалуйста, с товарищем – по вашей части.

– Пойдемте, – радушно предложил Игорь Александрович.

Они пошли по длинному коридору, Игорь Александрович впереди, Семка сзади на полшага.

– Я сам из Талицы, а точнее из Чебровки, Талица от нас...

– Сейчас, сейчас, – покивал головой Игорь Александрович, не оборачиваясь. – Сейчас во

всем разберемся.

"Здесь, вообще-то, время зря не теряют", – подумал Семка.

Вошли в кабинет... Кабинет победней, чем у председателя, – просто комната, стол, стул, чертежи на стенах, полка с книгами.

– Ну? – сказал Игорь Александрович. И улыбнулся. – Садитесь и спокойно все расскажите.

Семка начал все подробно рассказывать. Пока он рассказывал, Игорь Александрович, слушая его, нашел на книжной полке какую-то папку, полистал, отыскал нужное и, придерживая ладонью, чтобы папка не закрылась, стал заметно проявлять нетерпение. Семка заметил это.

– Все? – спросил Игорь Александрович.

– Пока все.

– Ну, слушайте. Талицкая церковь Н-ской области Чебровского района, стал читать Игорь Александрович. – Так называемая – на крови. Предположительно семидесятые – девяностые годы семнадцатого века. Кто-то из князей Борятинских погиб в Талице от руки недруга... – Игорь Александрович поднял глаза от бумаги, высказал предположение: – Возможно, передрались пьяные братья или кумовья. Итак, значит... погиб от руки недруга, и на том месте поставлена церковь. Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не выказал. Более или менее точная копия владимирских храмов. Останавливают внимание размеры церкви, но и они продиктованы соображениями не архитектурными, а, очевидно, материальными возможностями заказчика. Перестала действовать в тысяча девятьсот двадцать пятом году.

– Вы ее видели? – спросил Семка.

– Видел. Это, – Игорь Александрович показал страничку казенного письма в папке, – ответ на мой запрос. Я тоже, как вы, обманулся...

– А внутри были?

– Был, как же. Даже специалистов наших областных возил...

– Спокойно! – зловеще сказал Семка. – Что сказали специалисты? Про прикладок...

– Вдоль стен? Там, видите, какое дело: Борятинские увлекались захоронениями в своем храме и основательно раздолбали фундамент. Церковь, если вы заметили, слегка покосилась на один бок. Какой-то из поздних потомков их рода прекратил это. Сделали вот такой прикладок... Там, если обратили внимание, – надписи на прикладке – в тех местах, где внизу захоронения.

Семка Рысь чувствовал себя полностью обескураженным.

– Но красота-то какая! – попытался он упорствовать.

– Красивая, да. – Игорь Александрович легко поднялся, взял с полки книгу, показал фотографию храма. – Похоже?

– Похоже...

– Это владимирский храм Покрова. Двенадцатый век. Не бывали во Владимире?

– Я што-то не верю... – Семка кивнул на казенную бумагу. – По-моему, они вам втерли очки, эти ваши специалисты, Я буду писать в Москву.

– Так это и есть ответ из Москвы. Я почему обманулся: думал, что она тоже двенадцатого века... Я думал, кто-то самостоятельно – сам по себе, может быть, понаслышке, – повторил владимирцев. Но чудес не бывает. Вас что, сельсовет послал?

– Да нет, я сам... Надо же! Ну, допустим – копия. Ну и что? Красоты-то от этого не убавилось.

– Ну, это уже не то... А главное, денег никто не даст на ремонт.

– Не дадут?

– Нет.

Домой Семен выехал в тот же день. В райгородок прибыл еще засветло. И только здесь, на станции, вспомнил, что не пил дней пять уже. Пошел к ларьку... Обидно было и досадно.

Как если бы случилось так: по деревне вели невиданной красоты девку... Все на нее показывали пальцем и кричали несуразное. А он, Семка, вступился за нее, и обиженная красавица посмотрела на него с благодарностью. Но тут некие мудрые люди отвели его в сторону и разобъяснили, что девка та – такая-то растакая, что жалеть ее нельзя, что... И Семка сник головой. Все вроде понял, а в глаза поруганной красавице взглянуть нет сил – совестно. И Семка, все эти последние дни сильно загребавший против течения, махнул рукой... И его вынесло к ларьку. Он взял на поповские деньги "полкилограмма" водки, тут же осаденил, закусил буженинкой и пошел к отцу Герасиму.

Отец Герасим был в церкви на службе. Семка отдал его домашним деньги, какие еще оставались, оставил себе на билет и на бутылку красного, сказал, что долг вышлет по почте... И поехал домой.

С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал. Люди заметили это, и никто не решался заговорить с ним в это время. И зачем он ездил в область, и куда там ходил, тоже не спрашивали. Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем же бередить душу расспросами.

Материнское сердце

Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек "смазать" стакан-другой красного, Потом вышел, закурил...

Подошла молодая девушка, попросила:

– Разреши прикурить,

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки – молодая, припухла, пальцы трясутся.

– С похмелья? – прямо спросил Витька,

– Ну, – тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь "беломориной".

– А похмелиться не на что, – стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо,

– А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

– Пойдем, поправься. – Витьке понравилась девушка – миловидная, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили, Витьке стало хорошо, девушке тоже, Обоим стало хорошо.

– Здесь живешь?

– Вот тут, недалеко, – кивнула девушка, – Спасибо, легче стало.

– Может, еще хочешь?

– Можно вообще-то... Только не здесь,

– Где же?

– Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет...

В груди у Витьки нечто такое сладостно-скользское вильнуло хвостом, Было еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом – можно все успеть сделать.

– У меня там еще подружка есть, – подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять, Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

– С закусом одолеем, – решил он. – Есть чем закусить?

– Найдём.

Пошли с базара, как давние друзья.

– Чего приезжал?

– Сало продал... Деньги нужны-женюсь.

– Да?

– Женюсь. Хватит бурлачить.– Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты – куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой, – интересней.

– Хорошая девушка?

Как тебе сказать?.. Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

– А насчет любви?

– Как тебе сказать?.. Такой, как раньше бывало, – здесь вот кипятком подмывало чего-то такое, – такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.

– Не промахнись. Будешь потом... Непривязанный, а визжать будешь.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. (Ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли – какими переулками. Домик как домик – старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах – уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

"Шик-блеск-тру-ля-ля", – всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

– А где же подружка?

– Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

– Посижу. Только поскорей, ладно?

– Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза, Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате – радиолу не завел: без радиолы сердце билось в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты-похуже, постарше, потасканная и притворная. Затараторила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, "работала каучук". Потом пили... Витька прямо тут же за столом целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею.

"Вот она – жизнь! – ворочалось в горячей голове Витьки, – Вот она – зараза кипучая. Молодец я!"

Потом Витька ничего не помнит – как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил девушку Риту... И понял: опоиلى чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было, Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в засташнике, был червонец – еще на базаре сунул туда на всякий случай... Пошарил – там червонец. Витька пошел наугад – до первого встречного, Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево переулком и вправо по улице опять прямо. "И упретесь в автобусную станцию". Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунылась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

– Ладно, ладно, – бормотал он, – я вам устрою...

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди.

Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю до доньшка, запустил бутылку в скверик... Были рядом с ним какие-то подпившие мужики, трое. Один сказал ему:

– Там же люди могут сидеть.

Витька расстегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку – оставил свободной тяжелую бляху как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

– Ну?! – удивился Витька. – Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

– А кто же тут, по-твоему?

– Суки! Каучук работаете, да?

Трое пошли на него, Витька пошел на троих... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

– наших бьют!

Еще налетело человек пять... Попало и Витьке: кто-то сзади тяпнул бутылкой по голове, но вскользь – Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой,

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали – этим пользовался Витька и бил.

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол – между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Витькина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал... Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

– Батюшки-святые! – испугалась мать. – Чего же ему теперь за это?

– Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела – только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, сдурел, что ли?

– Батюшка, ангел ты мой господний, – взмолилась мать, – помоги как-нибудь!

– Да ты что! Как я могу помочь?..

– Да выпил он, должно, он дурной выпимши...

– Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже, наверно, завели дело...

– А кто же бы мог бы помочь-то?

– Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже...

Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета – тот тоже развел руками:

– Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать... Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

– Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что – по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

– Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке... Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

– Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибо-то...

– Да не за что...

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году), старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила

– крепкий вырос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный – дурак дураком становится. В отца пошел – тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускал.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово – тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице – тоже от Витькиной бляхи. Бляху с интересом разглядывали,

– Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще – не ребром угодил...

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени, и завывала, и запричитала:

– Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы какнибудь с вашей обидушкой – простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще – чтоб мать все поняла.

– Ты подожди, мать. Ты встань, встань – здесь не церква. Иди, глянь... Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном начальственного голоса.

– Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

– Во флоте, во флоте-на кораблях-то на этих...

– Теперь смотри: видишь? – Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. Этим же убить человека – дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром – конец. Убийство. Да и плашмя троих уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь: простить. Ведь он же трех человек в больницу уложил. А одного при исполнении служебных обязанностей, Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно – мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

– Да сыночки вы мои милые! – воскликнула мать и заплакала. – Да нечто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает-подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе, И хоть милиционеры – народ до жалости неохочий, даже и они – кто отвернулся, кто стал закуривать...

– Один он у меня – при мне-то: и поилец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал – как же тогда с девкой-то, если его посадят? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи-жалко...

– Он зачем в город-то приезжал? – спросил начальник.

– Сала продать, На базар – сальца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь?

– При нем никаких денег не было,

– Батюшки-святые! – испугалась мать. – А иде ж они?

– Это у него надо спросить.

– Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез – украли их у него!.. Жулики украли...

– Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник – за что он его-то?

– Да попал, видно, под горячую руку.

– Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! – Начальник набрался твердости, – Не будет за это прощения, получит свое – по закону,

– Да ангелы вы мои, люди добрые, – опять взмолилась мать, – пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела... Он работающий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

– Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться,

– А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала-пропасть! Все им готовила...

– Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! – уже кричал начальник, Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались!

– Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

– Пусть к прокурору ходит, – посоветовал один из присутствующих.

– Мельников, проводи ее до прокурора, – сказал начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем уж бестолковой: – Сходи к прокурору – он повыше нас! И дело уже у него, И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты! Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

– Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

– Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

– Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю – а каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

– Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что – мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась,

– Ты к чему же это?

– Пошли. Я к тому, что будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить – пьяный, деньги украли: обидели человека. Но судить все равно будут – чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить...

– Да сам же говоришь – пьяный был!

– Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь – сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь,

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала. Прокурор матери с первого взгляда понравился – внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано – что сын ее, Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами – хорошая девка... Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... заговорил издалика, тоже как-то мудрено:

– Вот ты-крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?..

– Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

– Ну вот – шестнадцать. В миниатюре – целое общество. Во главе – отец. Так?

– Так, батюшка, так. Отца слушались...

– Вот! – Прокурор поймал мать на слове. – Слушались! А почему? Нашкодил один – отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому – что в семье? Развал, Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко – там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны... Судить будут. Сколько

дадут, не знаю, это решает суд.

Мать поняла, что и этот невзлюбил ее сына. "За своего обиделись".

– Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

– Как это? – не сразу понял прокурор.

– Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся:

– Есть, мать, есть. Много!

– Где же они?

– Ну, где?.. Есть краевые организации... Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

– Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не сужденый, потом тяжельше будет...

– Скажи этим добрым людям, что они... не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

– Да посоветовали...

– Ну, поезжай. Проездишь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И никто этот суд не отменит,

У матери больно сжалось сердце... Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завывать в голос. Ноги ее подкашивались.

– Разреши мне хоть свиданку с ним...

– Это можно, – сразу согласился прокурор. – У него что, деньги большие были, говорят?

– Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери:

– Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного – его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло... Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара... Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так – на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти – ладно – эти за своего обиделись, а те – подальше которые – те помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет – помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей.

– Ну? – спросил ее начальник милиции.

– Велел в краевые организации ехать, – слукавила мать, – А вот – на свиданку. – Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: "А-а". Ей стало маленько полегче.

– Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери – сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... А сын ее сидел тут же, внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженные мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

– Что, мать, – спросил один мордастый, – тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл

дверь...

Витька был один, а камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах... Когда вошел милиционер, он не поднялся, но, увидев за ним мать, вскочил.

– Десять минут на разговоры, – предупредил длинный, И вышел.

Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком,

– Гляди-ка – под землей, а сухо, тепло, – сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс – сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой тряски,

– Деньги-то, видно, украли? – спросила мать.

– Украли.

– Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за них затевать? Не они нас наживают – мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали, – стыдно. Две шлюхи... Мучительно стыдно! И еще – жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, – ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она – только она, никто больше – нужна ему?

– Не знаешь, сильно я его?..

– Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

– Экспертизу, конечно, сделали... Бюллетень возьмет... – Витька посмотрел на мать. – Лет семь заделают.

– Батюшки-святые!.. – Сердце у матери упало. – Что же уж так много-то?

– Семь лет!.. – Витька вскочил с нар, заходил по камере. – Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка...

– Тебя как вроде уж осудили! – сказала она с укором, – Сразу уж – жизнь кувырком.

– А чего тут ждать? Все известно...

– Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

– Где была? – Витька остановился.

– У прокурора была...

– Ну? И он что?

– Да вот и спроси сперва: чего он? А то сразу – кувырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

– А чего прокурор-то?

– А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы...

Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права, а ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим, Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

– Полторы сотни.

– Батюшки-святые! Нагрели руки...

В дверь заглянул длинный милиционер:

– Кончайте.

– Счас, счас, – заторопилась мать. – Мы уж все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя карактеристику... Хорошую, говорит, напишу.

– Там... это... у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай...

– Какие грамоты?
– Ну, там увидишь. Может, поможет.
– Возьму. Потом схожу в контору-тоже возьму карактеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеевна хотела взять?
– Зачем?
– Да взять бы деньжонок-то с собой – может, кого задобрить придется?
– Не надо, хуже только наделаешь.
– Ну, погляжу там.
В дверь опять заглянул милиционер:
– Время.
– Пошла, пошла, – опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула изза пазухи печенюжку и яйцо. – На-ка поешь... Да шибко-то не задумывайся – не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники – они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться – сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь – про Верку хоть... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала...
– Ну?
– Горюет.
У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.
– А ишо вот чего... – Мать зашептала: – Возьми да в уме помолись. Ничего, ты – крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду – до поезда – да забегу свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилоставятся. Похоронку от отца возьму...
– Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.
– Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожат. Ты, главное, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь – для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь – они через полгода выходят, Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут. Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.
– Время, время...
– Пошла. – Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:
– Спаси тебя Христос.
И вышла из камеры... И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость – когда вот так, тут – просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится... Но мать – действовала, Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние, – это гибель, она знала. Она – действовала.
Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни – в краевые организации. "Господи, помоги, батюшка, – твердила она в уме беспрерывно. Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполошный – как бы не сделал чего над собой".
Поздно вечером она села в поезд и поехала.
"Ничего, добрые люди помогут".
Она верила, помогут.

Мой зять украл машину дров

Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

– Понимаешь, выбросили – все стали хватать... Ну, я подумала, подумала – и тоже взяла. Ничего, Вень?

– Взяла? – Веня зло сморщился. – Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла. – Венина мечта – когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку – отодвинулась далеко. – Спасибо. Подумала об муже... твою мать-то.

– Чего ты?

– Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

– Чего лаешься-то?

– Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу... Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды. Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

– Мам, ты гляди-ка, што он вытворяет – за шубу-то начал обзывать по-всякому! – Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться. – Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь, – вообще, вся очень крепкая.

– Ты что это, Вениамин? – сказала она с укоризной. – Другой бы муж радовался...

– А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да улочки две дать по селу – от радости.

– Если недопонимаешь, то слушай, што говорят! – повысила голос теща. Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать – не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый... И вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и, когда ему напоминали об этом – что не красавец, – Веню трясло от негодования.

– Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили... – И тесть Вени, и бывший муж Сони сидели. Тесть – за растрату, муж Сони – за пьяную драку. Слушок по селу ходил – Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа и зятя.

– Молчать! – строго осадил Лизавета Васильевна. – А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, окружил ястребом на тещу.

– А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая...

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

– Ох, молодой... – воскликнула она. – Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

– Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях. – Она побежала в горницу – писать заявление в милицию. – Ты у меня получишь за курву! – громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда. – Ты у меня получишь!..

– Давай, давай, пиши, тебе не привыкать. – Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве. Тебе посадить человека – раз плюнуть.

– Я первые колхозы создавала, а ты мне – курва! – громко закричала теща, появляясь в дверях.

– А про меня в газете писали, што я, хромой, на машине работаю! – тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком. – У меня пятнадцать лет трудового стажу!

– Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

– Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка...

– Поса-адим,– опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: – Ты машину дров привез?! Ты где ее взял?! Где взял?!

– Тебя же согреть привез..

– Где взял?! – изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

– Купил!

– На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

– Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты – жгла эти дрова и помалкивала?

– Я только сейчас это поняла – с кем мы живем под одной крышей.

– Э-э... завияла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне -три года, тебе – полтора как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем,

– Не-ет, ты их еще пока не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездилась с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что – домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению, привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, и если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна побежала в дирекцию.

Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за башковитость, лежало заявление тещи,

– Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот..

– Жалуются!.. Сами одетые, как эти... все есть! – стал честно рассказывать Веня.– А у меня – вот што на мне, то и все тут. Хотел раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубу купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

– Ну, а обзывает-то зачем? Матерился-то зачем?

– Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. после бани четверку жадничал выпить, а она взяла шубу купила! И главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

– Да пишет... много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

– Пишет, што она коллективизацию делала?

– Ну, пишет... Ты все-таки это... не надо – пожилой человек... Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

– Она шестьдесят рублей приносит, в тепле посиживает, а я самое малое, сто двадцать – выше нормы вкальваю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили. А то купят – и в сундук. А тут... на люди стыд показаться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил, Венина правда – вся тут.

– Все равно не надо, Вениамин, Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой... Что она? Поймет же она – молодая женщина...

– Да она-то што!.. Она голоса не имеет. Там эта вот,– Веня кивнул на заявление,– всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавилась, нет.

"Вот же ж тварь,– думал он,– посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! всю жизнь жила и всю жизнь злилась. Курва... На какой черт тогда и родиться такой?"

Тут встретился ему – не то что дружок – хороший товарищ Колька Волобуев.

– Чего такой? – Колька как-то странно всегда говорит – почти не раскрывая рта. И

смотрит на всех снисходительно, чуть сощурился глазами. Характер у парня.

– Какой?

– Какой-то... как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

– Из конторы.– И Веня все рассказал – как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

– Двух сожрала – мало,– процедил Колька.– Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

– Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой... А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них...

У Вени мстительно взыграла душа... Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни "да", ни "нет", как... Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он к черту хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

– Пойду сала под кожу кое-кому залью,– сказал он.

И скоро похромал домой. И нес в груди тяжелое, злое чувство.

"Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегают! Курва".

Сони не было дома.

– А где она? – спросил Веня,

– А я откуда знаю,– буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не ругали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались.) – Она мне не докладывает.

– Разговорчики! – прикрикнул Веня с порога.– Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя:

– Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток, с десяток больших гвоздей... Положил это все в карман и вошел снова в дом.

– Что там за материал лежит? – спросил он миролюбиво.

– Какой материал? Где? – живо заинтересовалась теща.

– Да в уборной... Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня – за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

– Посиди малость, подумай,– приговаривал Веня.– Сама любишь людей сажать? Теперь маленько опробуй на своей шкуре.– Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

– Карау-ул! – вопила Лизавета Васильевна. – Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! – наладилась теща.

Веня пригрозил:

– Будешь орать – подожгу.

Теща замолчала. Только всхлипнула:

– Ну, Венька!..

– Угрожать?

– Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это не скажут!

Вене попался на глаза кусок необожженной извести, Он поднял его и написал на двери уборной:

"Запломбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать".

– Ну, Венька!..

– Счас я еще Соню твою подожду... Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я вам в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко маломальский купили мне?

– Ты же пришел на все готовенькое.

– А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала... Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломаются.

– Не тобой нажито!

– А – тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считаю, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

– Ну, Венька!

– Вот так. И не ори, а то хуже будет.

– Над старухой так изгаляться!..

– Ты всю жизнь над людьми изгалялась – и молодая и старая.

Веня еще дождал Соню, не дождался, не утерпел – пошел искать ее по селу.

– Сиди у меня тихо! – велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из "карцера" соседи. Суд был бурный. Он проходил в клубе – показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в "карцере", ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал... Наказать, конечно, надо, но-не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

– Граждане судьи! – сказал он. – Я знал отца Венькиного – он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе – померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать... А гражданка Киселева... она вот счас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете – это никому не поглянется, – но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь – у тебя пенсия-то поболее моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал...

– Я из бедняцкой семьи! – как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна. – Я первые колхозы...

– И я тоже из бедняцкой, – возразил Михайло. – Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обществом? В войну ты была председателем сельпо – не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом... это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

– У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! – выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда – а в данном случае и полезней – лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные, пареньки пускали в ход ножи...

– Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме – две женщины. Представьте себе...

– Он не пьет!

– Это что он, после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купили кожаное пальто!

Под Веной закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюрьме.

– Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без

последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Этим мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года. Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

– Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки – щупленький такой же, молодой – лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испугался... бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову... Политрук хотел под трибунал отдать, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами... И што вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. И фашисты были – под потолок, рослые, а тот солдатик – забыл уж теперь, как его фамилия, – не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, што бывает – найдет на человека слабость, стихия – ну вроде пропал, совсем пропал человек... А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подыметься. Вы сами-то воевали, товарищ? – спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

– Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он... конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали божий дар с яичницей. – Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом, – На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михаил не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

– Судили, – неохотно ответил Михаиле, – Но...

– Совершенно верно. Но...

– Но оставили без последствий! – повысил голос Михаиле. – Только перевели в другую часть,

– Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами и потом заколол двух фашистов, – это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые... материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал... Он – испугался, это понятно. Испугайся он один, в лесу, увидев медведя, – ну, тогда положишься на волю божью, как говорят, точнее, на медвежью, задерет он тебя или не задерет? Но здесь – солдат, он шел в атаку не один, он испугался, он породил страх у всей роты!

– Ничего подобного! – сказал Михаиле. – Как бежали, так и бежали!

– Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди, – возможно, смерть...

– А то мы без него не знали.

– Что же касается данного конкретного случая...

Венька не отрываясь смотрел на представительного мужчину, плохо понимал, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Венька раньше никогда на судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители... Суд для него – это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот – в который уже раз – встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли дать суду какие-нибудь пояснения, Венька пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

– Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас... Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну четыре – тридцать один – тридцать два...

Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его как живого: спокойный, умный, веселый... И доказывает, доказывает, доказывает – надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают – страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали – от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое постанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные... Этот – представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех, надо сажать. О господи! Теща!.. Теща – змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и это можно понять. Она такая-курва. Но этот-то!.. Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовавшись.

А Веня шел непривычно задумчивый... Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Веня все не переставал изумляться... Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! – в один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, ничего, жил бы и дальше, Сманить надо было Соньку от тещи! Жить отдельно... Правда, она тоже – дура, не пошла бы против матери. Но о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина – смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал... У него поблескивала металлическая штучка на галстук. Брови у него черные, густые, чуть срослись не переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосиков слились и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, круглое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки...

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло, земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко и его не касаются. Вспоминал всех, скопом... Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось как сон, тяжелый, нехороший...

На 27-м километре Веня увидел впереди "Волгу" – стоит, капот задран, а рядом – у Вени больно екнуло сердце – вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул... И когда представительный мужчина "голоснул" ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

– Подбрось, слушай... – И узнал Веню. – О-о, – сказал он, как показалось Вене тоже несколько растерянно, – старый знакомый!

– Садись! – пригласил Веня, Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость. – Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился – не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

– Ну, как? – спросил мужчина.

– Што?

– Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь... так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

– С женой, конечно, развод? – понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

– Конечно,– Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек – такой... крепкий, что ли, умный, напористый, и при этом веселый.

– Эх, ребятки, ребятки... Беда с вами... Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал,– и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та... Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился:

– Не твое дело.

– Конечно, не мое! – воскликнул мужчина. – Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя... на два восемьдесят семь.– Мужчина чуть колыхнул животом.– Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться...

Веня на мгновение как бы ослеп – до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И как в пропасть полетел, ужаснулся...

– А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

– Да там, в аймаке, шьет один...– Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный – Уша по весне разливается, как Волга. На заказ.

– Из своего материала?

– Из своего.

– И сколько берет? – расспрашивал прокурор.

– По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее – дороже. Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно.

– Что значит – хорошее?

– Ну, кожа другая, выделка другая... Разная бывает выделка.

– Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

– Рублей, может, триста... Одному, говорит, за четыреста шил.

Машина въехала на мост.

– А где этот аймак? Далеко?

– Нет.– Странно: вроде Веня был один в кабине и разговаривал сам с собой – такое было чувство.

– Адрес-то знаешь?

– Знаю адрес. Знаю... Эх! – крикнул вдруг Веня, как в пустоте,– громко. А не ухнуть ли нам с моста?!

Он даванул газ и бросил руль... Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора... И увидел его глаза – большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины... Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей,

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг устал. И – хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

Одни

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

– Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.

– Эт почему же?

– А потому... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.

– Плевать мне на твою душу!

– Эх-х...

– Чего "эх"? Чего "эх"?

– Так... Вспомнил твоего папашу-кулака, царство ему небесное.

Марфа, грозная, большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой, маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд,

– Ты папашу моего не трожь!.. Понял?

– Ага, понял, – кротко отвечал Антип.

– То-то.

– Шибко уж ты строгая, Марфынька. Нельзя так, милая: надсадишь сердечушко свое и помрешь.

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать; когда он говорит серьезно, а когда шутит.

– Впрочем, шей.

– Шью, матушка, шью.

В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя. Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом; потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешено и слабый свет восковой свечи – бледный и немощный – чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни двенадцать человек детей. А всего было восемнадцать.

Облик дома менялся с годами, но всегда неизменно оставался рабочий уголок Антипа – справа от печки, за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. И там же, на стенке, висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни – балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив набочок голову, и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день, и сидел бы, если бы не Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил: страсть как любила деньги, тряслась над копеечкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить... Трижды простонала она почти человеческим стоном – и умерла.

Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно. На скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стенку новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно: не засиживалась у соседней подолгу, вообще старалась не отлучаться из дому. Знала: только она за порог, Антип снимает балалайку и играет – не работает.

Как-то раз осенним вечером сидели они – Антип в своем уголке, Марфа у стола с вязаньем.

Молчали.

Во дворе слякотно, дождик идет. В доме тепло, уютно. Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук... Отложила Марфа вязанье, о чем-то задумалась, глядя в окно.

Тук-тук, тук-тук, – постукивает Антип. И еще тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются. В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.

– Чего пригорюнилась, Марфынька? – спросил Антип. – Все думаешь, как денжат

побольше скопить?

Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.

– Помирать скоро будем, так что думай не думай. Думай не думай – сто рублей не деньги.– Антип любил поговорить, когда работал.– Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной... Хоть уж погибали, так героически. А тут – как сел с тринадцати годков, так и сижу – скоро семисят будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне плевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже: не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?

– Для детей,– серьезно сказала Марфа.

Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.

– Для детей? – Антип оживился.– С одной стороны, правильно, конечно, а с другой – нет, неправильно.

– С какой стороны неправильно?

– С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко.

– А чего бы ты для себя-то делал?

Антип не сразу нашелся, что ответить на это.

– Как это "чего"? Нашел бы чего... Я, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок – это кусок золота, это редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...

– Перестань уж!.. – Марфа махнула рукой. – Завел – противно слушать.

– Значит, не понимаешь,– вздохнул Антип.

Некоторое время молчали.

Марфа вдруг всплакнула. Вытерла платочком слезы и сказала:

– Разлетелись наши детушки по всему белу свету.

– Что же им, около тебя сидеть всю жизнь? – заметил Антип.

– Хватит стучать-то! – сказала вдруг Марфа.– Давай посидим, поговорим про детей.

Антип усмехнулся, отложил молоток.

– Сдаешь, Марфа,– весело сказал он.– А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?

– Сыграй,– разрешила Марфа.

Антип вымыл руки, лицо, причесался.

– Дай новую рубашенцию.

Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу.

– Начинаем наш концерт!

– Ты не дурачься только,– посоветовала Марфа.

– Сейчас вспомним всю нашу молодость,– хвастливо сказал Антип, настроивая балалайку.– Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?

– Помню, чего же мне не помнить? Я как-нибудь помоложе тебя.

– На сколько? На три недели с гаком?

– Не на три недели, а на два года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался.

Антип миролюбиво засмеялся:

– Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за мной приударяла?

– Кто? Я, что ли? Господи!.. А на кого это тятя-покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?

– Штанина, допустим, была моя...

Антип подкрутил последний кулочок, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам... Заиграл, И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка

далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

Не шей ты мне,
Ма-амынька,
Красный сарафа-ан,

запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Не входи, родимая,
Попусту
В изъян...

Пели ни так чтобы очень стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины, То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая... И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов...

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!
Походите, погуляйте,
Па-ба-луй-тися!

Он стал подпрыгивать. Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась.

– Хоть бы уж не выдрючивался, господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же. Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.

Ох, Марфа моя,
Ох, Марфынька,
Укоряешь ты меня за напраслинку!

– А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярманку возил? Антип кивнул головой.

Ох, помню, моя,
Помню, Марфынька!
Ох, хаханечки, ха-ха,
Чечевика с викою!

– Дурак же ты, Антип! – ласково сказала Марфа, – Плетешь черт те чего.

Ох, Марфушечка моя,
Радость всенародная...

Марфа так и покатилась:

– Ну, не дурак ли ты, Антип!

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!

- Сядь, споем какую-нибудь, – сказала Марфа, вытирая слезы. Антип слегка запыхался. Улыбаясь, смотрел на Марфу.
- А? А ты говоришь: Антип у тебя плохой!
- Не плохой, а придурковатый, – поправила Марфа.
- Значит, не понимаешь, – сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение.
- Сел. – Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.
- Не деньги меня замучили, а нету их, вот что мучает-то.
- Хватило бы... брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазельффрау?
- Про Володю-молодца.
- Она тяжелая, ну ее!
- Ничего. Я поплачу хоть маленько,

Ох, не вейти-ися, чайки, над морем,

– запел Антип.

Вам некуда, бедненьким, сесть.
Слетайте в Сибирь, край далекий,
Снесите печальну-я весть.

Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал.

Ох, в двенадцать часов темной но-очий
Убили Володю-молодца-а.
Наутро отец с младшим сыном...

Марфа захлюпала.

- Антип, а Антип!., Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю, проговорила она сквозь слезы.
- Ерунда, – сказал Антип. – Ты меня тоже прости, если я виноватый.
- Играть тебе не даю...
- Ерунда, – опять сказал Антип. – Мне дай волю – я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя. Я понимаю.
- Хочешь, чекушечку тебе возьмем?
- Можно, – согласился Антип,
- Марфа вытерла слезы, встала.
- Иди пока в магазин, а я ужин соберу.
- Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука, из-под тряпья разного, деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.
- Вот еще какое дело, – небрежно начал он, – она уж старенькая стала... надо бы новую. А в магазин вчера только привезли. Хорошие! Давай заодно куплю.
- Кого? – Марфина спина перестала двигаться.
- Балалайку-то.
- Марфа опять задвигалась. Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.
- Она у тебя играет еще, – сказала она.
- Там треснула досточка одна... дребезжит.
- А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько.
- Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой!
- Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.
- На, – она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.

- На четвертинку только? – У Антипа отвисла нижняя губа. – Да-а...
- Ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла!
- Эх, Марфа!.. – Антип тяжело вздохнул.
- Что "эх"? Что "эх"?
- Так... проехало. – Антип повернулся и пошел к двери.
- А сколько она стоит-то? – спросила вдруг Марфа сурово.
- Да она стоит-то копейки! – Антип остановился у порога. – Рублей шесть по новым ценам.
- На, – Марфа сердито протянула ему шесть рублей,
Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел: разговаривать или медлить было опасно – Марфа легко могла раздумать.

Охота жить

Поляна на взгорке, на поляне – избушка.

Избушка – так себе, амбар, рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают... А ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни – собьют камелек, и трубу на крышу выведут, и нары сколотят – живи не хочуй!

Зайдешь в такую избушку зимой – жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах, куржак, в ладонь толщиной, промозглый запах застоялого дыма.

Но вот затрещали в камельке поленья... Потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины; со стен каплет. Угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек... Через полчаса в избушке теплее и не тяжело. Можно скинуть полушубок и натереть в камелек еще дополна. Стены слегка парят, тихое блаженство, радость. "А-а!.. – хочется сказать. – Вот так-то". Теперь уж везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего – скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги – к камельку. И дремота охватит – сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо.

В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как береста. Тут же, перед камельком, чурбачок. Можно сесть на него, закурить и – думать. Одному хорошо думается. Темно. Только из щелей камелька светится; свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Шел рядом и молчал как дурак... И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт ее знает – хорошо!

Совсем тепло. Можно чайку заварить. Кирпичного, зеленого. Он травой пахнет, лето вспоминается.

...Так в сумерки сидел перед камельком старик Никитич, посасывал трубочку. В избушке было жарко. А на улице – морозно. На душе у Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге – промышлял. Белковал, а случалось, медведя-шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил пять-шесть патронов с картечным зарядом. Любил тайгу. Особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно делается; Никитич, прищурившись, оглядывался кругом – знал: он один безраздельный хозяин этого большого белого царства.

...Сидел Никитич, курил.

Прошаркали на улице лыжи, потом – стихло. В оконце вроде кто-то заглянул. Потом опять скрипуче шаркнули лыжи – к крыльцу. В дверь стукнули два раза палкой.

– Есть кто-нибудь?

Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания – не умеет человек сам с собой разговаривать.

"Не охотник", – понял Никитич, охотник не станет спрашивать – зайдет, и все.

– Есть!

Тот, за дверью, отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца... Дверь приоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясанной стеганке, в ватных штанах, в старой солдатской шапке.

– Кто тут?

– Человек, – Никитич пожег лучину, поднял над головой.

Некоторое время молча смотрели друг на друга.

– Один, что ли?

– Один.

Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите.

– Мороз, черт его...

– Мороз. – Тут только заметил Никитич, что парень без ружья. Нет, не охотник.

Не похож. Ни лицом, ни одежкой. – Март – он ишо свое возьмет.

– Какой март? Апрель ведь.

– Это по-новому. А по-старому – март. У нас говорят: марток – надевай двое порток. Легко одетый. – Что ружья нет, старик промолчал.

– Ничего, – сказал парень. – Один здесь?

– Один. Ты уж спрашивал.

Парень ничего не сказал на это.

– Садись. Чайку щас поставим.

– Отогреюсь малость... – Выговор у парня нездешний, расейский. Старика разбирало любопытство, но вековой обычай – не лезть сразу с расспросами – был сильнее любопытства,

Парень отогрел руки, закурил папироску.

– Хорошо у тебя. Тепло.

Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его – красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затынулся, приоткрыл рот – сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучерявится на скулах... Исхудал... Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку, внимательно посмотрел на него. Бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился: прямой, смелый... И какой-то "стылый" так – определил Никитич. И подумал некстати: "Девки таких любят".

– Садись, чего стоять-то?

Парень улыбнулся:

– Так не говорят, отец. Говорят – присаживайся.

– Ну, присаживайся. А пошто не говорят? У нас говорят.

– Присесть можно. Никто не придет еще?

– Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит. – Никитич подвинулся на пеньке, парень присел рядом, опять протянул руки к огню. Руки – не рабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу – не "охальная", простецкая, сдержанная. Да еще эти зубы золотые... Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку, надень костюмчик – учитель, Никитич очень любил учителей.

– Иолог какой-нибудь? – спросил он.

– Кто? – не понял парень.

– Ну... эти, по тайге-то ищут...

– А-а... Да.

– Как же без ружьишка-то? Рыск.

– Отстал от своих, – неохотно сказал парень. – Деревня твоя далеко?

– Верст полтора.

Парень кивнул головой, прикрыл глаза, некоторое время сидел так, наслаждаясь теплом, потом встряхнулся, вздохнул:

– Устал,

– Долго один-то идешь?

– Долго. У тебя выпить нету?

– Найдется.

Парень оживился:

– Хорошо! А то аж душа трясется. Замерзнуть к черту можно. Апрель называется...

Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом. Засветил фонарь под потолком.

– Вас бы хошь учили маленько, как быть в тайге одному... А то посылают, а вы откуда знаете! Я вон лонись нашел одного – вытаял весной. Молодой тоже. Тоже с бородкой. В одеяло завернулся – и все, и окочурился. Никитич нарезал сало на краешке нар. – А меня пусти одного, я всю зиму проживу, не охну. Только бы заряды были. Да спички.

– В избушку-то все равно лезешь.

– Дак а раз она есть, чего же мне на снегу-то валяться? Я не лиходей себе. Парень распоясался, снял фуфайку... Прошелся по избушке. Широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел – рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге; случалось, подрабатывал, провожая какую-нибудь поисковую партию, в душе подсмеивался над ними, но любил слушать их разговоры и охотно сам беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно похохатывают, а сами – оставь их одних – пропадут, как сосунки слепые. Еще интересней, когда в партии – две-три девки. Терпят, не жалуются. И все вроде они такие же, и никак не хотят, чтоб им помогали. Спят все в куче. И ничего – не безобразничают. Доводись до деревенских – греха не оберешься. А эти – ничего. А ведь бывают – одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая – кукла и кукла, а ребята – ничего, как так и надо.

– Кого ищите-то?

– Где?

– Ну, ходите-то.

Парень усмехнулся себе:

– Долю.

– Доля... Она, брат, как налим, склизкая: вроде ухватил ее, вроде – вот она, в руках, а не тут-то было. – Никитич настроился было поговорить, как обычно с городскими – позаковырестей, когда внимательно слушают и переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьмет да еще в тетрадку карандашиком чего-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь – только развесь уши. Свои бы, деревенские, боталом обзвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе: складно выходит, язвы тя. Такие турысы разведет, что тебе поп раньше. И лесины-то у него с душой: не тронь ее, не секи топором зазря, а то засохнет, и сам засохнешь – тоска навалится, и засохнешь, и не догадаешься, отчего тоска такая. Или вот: понаедут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! – кого попало: самку – самку, самца – самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. То ты одну шкуру добыл, а подожди маленько-три будет. Бестолковое дело – душу на зверье тешить. – Вот те и доля, – продолжал Никитич,

Только парню не хотелось слушать. Подошел к окну, долго всматривался в темень. Сказал, как очнулся;

– Все равно весна скоро.

– Придет, никуда не денется. Садись, Закусим чем бог послал.

Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось, Никитич подкинул в камелек. А парня опять потянуло к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и смотрел в ночь,

– Кого ты щас там увидишь? – удивился Никитич. Ему хотелось поговорить.

– Воля, – сказал парень, И вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал – крепко, зло и напористо, Откачнулся от окна.

– Дай еще выпить, отец. – Расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, гулко хлопнул

себя по груди широкой ладонью, погладил.– Душа просит.

– Поел бы, а то с голодухи-то развезет.

– Не развезет. Меня не развезет,– И ласково и крепко приобнял старика за шею.

И пропел:

А в камере смертной,
Сырой и холодной,
Седой появился старик...

И улыбнулся ласково. Глаза у парня горели ясным, радостным блеском.

– Выпьем, добрый человек.

– Наскучал один-то,– Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше нравился ему. Молодой, сильный, красивый. А мог пропасть,– Так, парень, пропасть можно. Без ружьишка в тайге – поганое дело.

– Не пропадем, отец. Еще поживем!

И опять сказал это крепко, и на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко и опять "остыли"... И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил, Но вспоминать ему это "что-то" не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна. Крякнул. Крутнул головой. Пожевал сала. Закурил. Встал – не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посредине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся.

– Охота жить, отец,

– Жить всем охота. Мне, думаешь, неохота? А мне уж скоро...

– Охота жить! – упрямо, с веселой злостью повторил большой красивый парень, не слушая старика.– Ты ее не знаешь, жизнь. Она...– Подумал, стиснул зубы: – Она – дорогуша. Милая! Роднуля моя.

Захмелевший Никитич хихикнул:

– Ты про жись, как все одно про бабу.

– Бабы – дешевки.– Парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому хотелось его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать.

– Бабы, они... конечно. Но без них тоже...

– Возьмем мы ее, дорогушу,– парень выкинул вперед руки, сжал кулаки,возьмем, милую, за горлышко... Помнишь Колю-профессора? Забыла? – Парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его "забыли". – Колю-то!.. А Коля помнит тебя. Коля тебя не забыл.– Он не то радовался, не то собирался кому-то зло мстить.– А я – вот он. Прошу, мадам, на пару ласковых, Я не обижу. Но ты мне отдашь все. Все! Возьму!..

– Правда, што ли, баба так раскипятила? – спросил удивленный Никитич.

Парень тряхнул головой:

– Эту бабу зовут – воля. Ты тоже не знаешь ее, отец, Ты – зверь, тебе здесь хорошо. Но ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь?

– Не навечно же ты здесь...

– Не понимаешь.– Парень говорил серьезно, строго.– Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. Я не боюсь смерти. Значит, жизнь – моя.

Старик качнул головой:

– Не пойму, паря, к чему ты?

Парень подошел к нарам, налил в стаканы. Он как будто сразу устал.

– Из тюрьмы бегу, отец,– сказал без всякого выражения.– Давай?

Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил. Посмотрел на старика... Тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня,

– Что?

– Как же это?

– Пей, – велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой. Дай твоего.

– У меня листовуха.

– Черт с ней.

Закурили. Парень присел на чурбак, ближе к огню.

Долго молчали.

– Поймают вить, – сказал Никитич. Ему не то что жаль стало парня, а он представил вдруг, как ведут его, крупного, красивого, под ружьем. И жаль стало его молодость, и красоту, и силу. Сцапают – и все, все псу под хвост: никому от его красоты ни жарко ни холодно. Зачем же она была? – Зря, сказал он трезво.

– Чего?

– Бежишь-то. Теперь не ранешное время – поймают.

Парень промолчал. Задумчиво смотрел на огонь. Склонился. Подкинул в камелек полено.

– Надо бы досидеть... Зря.

– Перестань! – резко оборвал парень. Он тоже как-то странно отрезвел. – У меня своя башка на плечах.

– Это знамо дело, – согласился Никитич. – Далеко идти-то?

– Помолчи пока.

"Мать с отцом есть, наверно, – подумал Никитич, глядя в затылок парню. Придет-обрадует, сукин сын".

Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубочки и набил снова. Парень все смотрел на огонь,

– Деревня твоя – райцентр или нет? – спросил он, не оборачиваясь.

– Какой райцентр! До району от нас еще девяносто верст. Пропадешь ты. Зимнее дело – по тайге...

– Дня три поживу у тебя – наберусь силенок, – не попросил, просто сказал.

– Живи, мне што. Много, видно, оставалось – не утерпел?

– Много.

– А за што давали?

– Такие вопросы никому никогда не задавай, отец.

Никитич попыхтел угасающей трубочкой, раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал, кашляя:

– Мне што!.. Жалко только. Поймают...

– Бог не выдаст – свинья не съест. Дешево меня не возьмешь, Давай спать.

– Ложись. Я подожду, пока дровишки прогорят, – трубу закрыть. А то замерзнем к утру.

Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, что положить под голову. Увидел на стене ружье Никитича. Подошел, снял, осмотрел, повесил.

– Старенькое.

– Ничо, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда протяни, к камельку. К утру все одно выстынет.

Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул.

– Маленький Ташкент, – к чему-то сказал он. – Не боишься меня, отец?

– Тебя-то, – изумился старик. – А чего тебя бояться?

– Ну... я ж лагерник. Может, за убийство сидел.

– За убийство тебя бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от его не уйдешь.

– Ты верующий, что ли? Кержак, наверно?

– Кержак!.. Стал бы кержак с тобой водку пить.

– Это верно. А насчет боженек ты мне мозги не... Меня тошнит от них. Парень говорил с ленцой, чуть осевшим голосом. – Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил.

– За што?

– За што? За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он – добренький, терпеть учил. Паскуда! – Голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было. Кто добрый? Я? Ты?

– Я, к примеру, за свою жись никому никакого худа не сделал...

– А зверей бьешь! Разве он учил?

– Сравнил хрен с пальцем. То – человек, а то – зверь,

– Живое существо – сами же трепетесь, сволочи.

Лицо парня Никитич не видел, но оно стояло у него в глазах – бледное, с бородкой; дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом.

– Ты чего рассерчал-то на меня?

– Не врите! Не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите! А то не успеет помолиться и тут же штаны спускает – за бабу хляет, гадина. Я бы сейчас нового Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить. Врешь? Получай, сука, погань!

– Не поганься, – строго сказал Никитич. – Пустили тебя, как доброго человека, а ты лаяться начал. Обиделся – посадили! Значит, было за што. Кто тебе виноват?!

– М-м. – Парень скрипнул зубами. Промолчал.

– Я не поп, и здесь тебе не церква, чтобы злобой своей харкать. Здесь – тайга: все одинаковые. Помни это. А то и до воли своей не добежишь – сломишь голову. Знаешь, говорят: молодец – против овец, а спроть молодца – сам овца. Найдется и на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот – ни за што ни про што, он тебе покажет, где волю искать.

– Не сердись, отец, – примирительно сказал парень. – Ненавижу, когда жить учат, Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошие, вот как жить надо. Ненавижу! – почти крикнул. – Не буду так жить. Врут! Мертвечиной пахнет! Чистых, умытых покойничков мы все жалеем, все любим, а ты живых полюби, грязных. Нету на земле святых! Я их не видел. Зачем их выдумывать?! – парень привстал на локоть; смутно – пятном – белело в сумраке, в углу, его лицо, зло и жутковато сверкали глаза.

– Поостынешь маленько, поймешь: не было ба добрых людей, жись ба давно остановилась. Сожрали бы друг друга или перерезались. Это никакой меня не Христос учил, сам так считаю. А святых – это верно: нету. Я сам вроде ничо, никто не скажет: плохой или злой там. А молодой был... Недалеко тут кержацкий скит стоял, за согрой, семья жила: старик со старухой да дочь ихняя годов двадцати пяти, Они, может, не такие уж старые были, старики-то, а мне казалось тогда – старые. Они цотом ушли куда-то. Ну, дак вот: была у их дочь. Все божественные, спасу нет: от людей ушли, от греха, дескать, подальше. А я эту дочь-ту заманил раз в березник и... это... ла-ла с ей. Хорошая девка была, здоровая. До ребенка дело дошло. А уж я женатый был...

– А говоришь, худою ничего не делал?

– Вот и выходит, што я не святой. Я не насильничал, правда, лаской донял, а все одно... дитя-то пустил по свету. Спомнишь-жалко. Большой уж теперь, материт, поди.

– Жизнь дал человеку – не убил. И ее, может, спас. Может, она после этого рванула от них. А так довели бы они ее со своими молитвами: повесилась бы на суку где-нибудь, и все. И мужика бы ни разу не узнала. Хорошее дело сделал, не переживай.

– Хорошее или плохое, а было так. Хорошего-то мало, конечно.

– Там еще осталось?

– Спиртяги? Есть маленько. Пей, я не хочу больше.

Парень выпил. Опять крякнул. Не стал закусывать.

– Много пьешь-то?

– Нет, это... просто перемерз. Пить надо не так, отец. Надо красиво пить. Музыка... Хорошие сигареты, шампанское... Женщины. Чтоб тихо, культурно. Парень опять размечтался, лег, закинул руки за голову. – Бардаки презираю. Это не люди – скот. М-м, как можно красиво жить! Если я за одну ночь семь раз заигрывал с курносой – так? – если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб, – я устаю, Я потом отдыхаю, Я

наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров, вместе взятых. Ты говоришь – риск? А я говорю – да. Пусть обмирает душа, пусть она дрожит, как овечий хвост, – я иду прямо, я не споткнусь и не поверну назад.

– Ты кем работал до этого? – поинтересовался Никитич,

– Я? Агентом по снабжению. По культурным связям с зарубежными странами. Вообще я был ученый. Я был доцентом на тему: "Что такое колорадский жук и как с ним бороться", – Парень замолчал, а через минуту сонным голосом сказал: – Все, отец... Я ушел.

– Спи.

Никитич пошуровал короткой клюкой в камельке, набил трубочку и стал думать про парня. Вот тебе и жизнь – все дадено человеку: красивый, здоровый, башка вроде недурная... А... что? Дальше что? По лесам бегать? Нет, это город их доводит до ручки. Они там свихнулись все. Внуки Никитича – трое – тоже живут в большом городе. Двое учатся, один работает, женат. Они не хвастают, как этот, но их тянет в город. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич достает ружья, водит в тайгу и ждет, что они просветлеют, отдохнут душой и проветрят мозги от ученья. Они притворяются, что им хорошо, а Никитичу становится неловко: у него больше ничего нет, чем порадовать внуков. Ему тяжело становится, как будто он обманул их. У них на уме один город. И этот, на нарах, без ума в город рвется. На его месте надо уйти подальше, вырыть землянку и пять лет не показываться, если уж сидеть не вмоготу стало. А он снова туда, где на каждом шагу могут за шкирку взять. И ведь знает, что возьмут, а идет... "Что за сила такая в этом городе! Ну ладно, я – старик, я бывал там три раза всего, я не понимаю... Согласен, Там весело и огней много. Но раз я не понимаю, так я и не хаю. Охота там? На здоровье, а мне здесь хорошо. Но так получается, что они приходят оттуда и нос воротят: скучно, тоска. Да присмотришь хорошенько! Ты же увидишь-то ничего не успел, а уж давай молоть про свой город. А посмотри, как, к примеру, муравей живет. Или – крот. Да любая животино!.. Возьми приглядишься для интереса. А потом думай: много ты про жизнь знаешь или нет? Вы мне – сказки про город?.. А если я начну рассказывать, сколько я знаю! Но меня не слушают, а на вас глаза пялят – городской. А мне хрен с тобой, что ты городской, что ты штиблетами по тротуару форсишь. Дофорсился вот: отвалили лет пятнадцать, наверно, за красивую-то жизнь. Магазин, наверно, подломил, не иначе. Шиканул разок – и загремел. И опять на рога лезет. Сам! Это уж, значит, не может без города. Опять на какой-нибудь магазин нацелился. Шампанское... а откуда оно, шампанское-то, возьмется? Дурачье... Сожрет он вас, город, с костями вместе. И жалко дураков. И ничего сделать нельзя. Не докажешь".

Дрова в камельке догорели. Никитич дождался, когда последние искорки умерли в золе, закрыл трубу, погасил фонарь, лег рядом с парнем. Тот глубоко и ровно дышал, неловко подвернув под себя руку. Даже не шевельнулся, когда Никитич поправил его руку.

"Намаялся, - подумал Никитич. - Дурило... А кто заставляет? Эх, вы!!"

...За полночь на улице, около избушки, зашумели. Послышались голоса двух или трех мужчин.

Парень рывком привстал – как не спал.

Никитич тоже приподнял голову.

– Кто это? – быстро спросил парень.

– Шут их знает.

Парень рванулся с нар – к двери, послушал, зашарил рукой по стене – искал ружье. Никитич догадался,

– Ну-ка, не дури! – прикрикнул негромко. – Хуже беды наделаешь,

– Кто это? – опять спросил парень.

– Не знаю, тебе говорят.

– Не пускай, закройся.

– Дурак. Кто в избушке закрывается? Нечем закрываться-то. Ложись и не шевелись.

– Ну, дед!..

Парень не успел досказать. Кто-то поднялся на крыльцо и искал рукой скобу. Парень

ужом скользнул на нары, еще успел шепнуть:

– Отец, клянусь богом, чертом, дьяволом: продашь... Умоляю, старик. Век...

– Лежи, – велел Никитич.

Дверь распахнулась.

– Ага! – весело сказал густой бас. – Я же говорил: кто-то есть, Тепло, входите!

– Закрывай дверь-то! – сердито сказал Никитич, слезая с нар. – Обрадовался тепло!

Расшиперься пошире – совсем жарко будет.

– Все в порядке, – сказал бас, – И тепло, и хозяин приветливый.

Никитич засветил фонарь.

Вошли еще двое. Одного Никитич знал: начальник районной милиции. Его все охотники знали: мучил охотничьими билетами и заставлял платить взносы.

– Емельянов? – спросил начальник, высокий упитанный мужчина лет под пятьдесят. –

Так?

– Так, товарищ Протокин.

– Ну вот!.. Принимай гостей.

Трое стали раздеваться.

– Пострелять? – не без иронии спросил Никитич. Он не любил этих наезжающих стрелков: только пошумят и уедут.

– Надо размяться маленько. А это кто? – Начальник увидел парня на нарах.

– Иолог, – нехотя пояснил Никитич. – От партии отстал.

– Заблудился, что ли?

– Но.

– У нас что-то неизвестно. Куда ушли, он говорил?

– Кого он наговорит! Едва рот разевал: замерзал. Спиртом напоил его – щас спит как мертвый.

Начальник зажег спичку, поднес близко к лицу парня, У того не дрогнул ни один мускул. Ровно дышал.

– Накачал ты его. – Спичка начальника погасла. – Что же у нас-то ничего не известно?

– Может, не успели еще сообщить? – сказал один из пришедших.

– Да нет, видно, долго бродит уже. Не говорил он, сколько один ходит?

– Нет, – отвечивал Никитич. – Отстал, говорит. И все.

– Пусть проспится. Завтра выясним. Ну что, товарищи: спать?

– Спать, – согласились двое. – Уместимся?

– Уместимся, – уверенно сказал начальник. – Мы прошлый раз тоже впятером были.

Чуть не загнулись к утру: протопили, да мало. А мороз стоял – под пятьдесят.

Разделись, улеглись на нарах. Никитич лег опять рядом с парнем, Пришлые поговорили немного о своих районных делах и замолчали. Скоро все спали.

...Никитич проснулся, едва только обозначилось в стене оконце. Парня рядом не было, Никитич осторожно слез с нар, нашарил в кармане спички. Еще ни о чем худом не успел подумать. Чиркнул спичкой... Ни парня нигде, ни фуфайки его, ни ружья Никитича не было. Неприятно сжало под сердцем. "Ушел. И ружье взял".

Неслышно оделся, взял одно ружье из трех, составленных в углу, пощупал в кармане патроны с картечью. Тихо открыл дверь и вышел.

Только-только занимался рассвет. За ночь потеплело. Туманная хмарь застила слабую краску зари. В пяти шагах еще ничего не было видно. Пахло весной.

Никитич надел свои лыжи и пошел по своей лыжне, четко обозначенной в побуревшем снегу.

– Сукин ты сын, варнак окаянный, – вслух негромко ругался он. – Уходи, пес с тобой, а ружье-то зачем брать! Што я тут без ружья делать стану, ты подумал своей башкой? Што я, тыщи, што ли, большие получаю, – напасаться на вас на всех ружьями? Ведь ты же его, поганец, все равно бросишь где-нибудь. Тебе лишь бы из тайги выйти... А я сиди тут сложа ручки без ружья. Ни стыда у людей, ни совести.

Помаленьку отбеливало.

День обещал быть пасмурным и теплым.

Лыжня вела не в сторону деревни.

– Боишься людей-то? Эх, вы... "Красивая жись". А последнее ружьишко у старика взять – это ничего, можно. Но от меня ты не уйде-ешь, голубчик. Я вас таких семерых замотаю, хоть вы и молодые.

Зла большого у старика не было. Обидно было: пригрел человека, а он взял и унес ружье. Ну не подлец после этого!

Никитич прошел уже километра три. Стало совсем почти светло; лыжня далеко была видна впереди.

– Рано поднялся. И ведь как тихо сумел!

В одном месте парень останавливался закурить: сбочь лыжни ямка – палки втыкал, На снегу крошки листовухи и обгоревшая спичка.

– И кисет прихватил! – Никитич зло плюнул. – Вот поганец так поганец! – Прибавил шагу.

... Парня Никитич увидел далеко в ложбине, внизу.

Шел парень дельным ровным шагом, не торопился, но податливо. За спиной – ружье.

– Ходить умеет, – не мог не отметить Никитич.

Свернул с лыжни и побежал в обход парню, стараясь, чтоб его скрывала от него вершина длинного отлогого бугра. Он примерно знал, где встретит парня: будет на пути у того неширокая просека. Он пройдет ее, войдет снова в чащу... и, тут его встретит Никитич.

– Щас я на тебя посмотрю, – не без злорадства приговаривал Никитич, налегая вовсю на палки.

Странно, но ему очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парня. Что-то было до страсти привлекательное в этом лице. "Может, так и надо, что он рвется к своей красивой жизни. Что ему тут делать, если подумать? Засохнет. Жизнь, язви ее, иди разберись".

У просеки Никитич осторожно выглянул из чащи: лыжни на просеке еще не было – обогнал. Быстро перемахнул просеку, выбрал место, где примерно выйдет парень, присел в кусты, проверил заряд и стал ждать. Невольно, опытным охотничьим глазом осмотрел ружье: новенькая тулка, блестит и резко пахнет ружейным маслом. "На охоту собирались, а не подумали: не надо, чтоб ружье так пахло. На охоте надо и про табачок забыть, и рот чаем прополоскать, чтоб от тебя не разило за версту, и одежду лучше всего другую надеть, которая на улице висела, чтоб жильем не пахло. Охотники-горе луковое".

Парень вышел на край просеки, остановился. Глянул по сторонам. Постоял немного и скоро-скоро побежал через просеку. И тут навстречу ему поднялся Никитич.

– Стой! Руки вверх! – громко скомандовал он, чтоб совсем ошарашить парня.

Тот вскинул голову, и в глазах его отразился ужас. Он дернулся было руками вверх, но узнал Никитича. – Говоришь: не боюсь никого, – сказал Никитич, – а в штаны сразу наклал.

Парень скоро оправился от страха, улыбнулся обаятельной своей улыбкой немножко насильственно.

– Ну, отец... ты даешь. Как в кино... твою в душу мать. Так можно разрыв сердца получить.

– Теперь, значит, так, – деловым тоном распорядился Никитич, – ружье не сымай, а достань сзади руками, переломи и выкинь из казенника патроны. И из кармана все выбрось. У меня их шешнацать штук оставалось. Все брось на снег, а сам отойди в сторону. Если задумаешь шутки шутить, стреляю, Сурьезно говорю.

– Дошло, батя. Шутить мне сейчас что-то не хочется.

– Бесстыдник, ворюга.

– Сам же говорил: погано в лесу без ружья.

– А мне тут чо без его делать?

– Ты дома.

– Ну, давай, давай. Дома, Што у меня дома-то – завод, што ли?

Парень выгреб из карманов патроны – четырнадцать: Никитич считал. Потом заломил руки за спину; прикусив нижнюю губу, внимательно глядел на старика. Тот тоже не сводил с него глаз: ружье со взведенными курками держал в руках, стволами на уровне груди парня.

– Чего мешкаешь?

– Не могу вытащить...

– Ногтями зацепи... Или постучи кулаком по прикладу.

Выпал сперва один патрон, потом второй.

– Вот. Теперь отойди вон туда.

Парень повиновался.

Никитич собрал патроны, поклат в карманы полушубка.

– Кидай мне ружье, а сам не двигайся.

Парень снял ружье, бросил старику.

– Теперь садись, где стоишь, покурим. Кисет мне тоже кинь. И кисет спер...

– Курить-то охота мне,

– Ты вот все – мне да мне. А про меня, черт полосатый, не подумал! А чего мне-то курить?

Парень закурил.

– Можно я себе малость отсыплю?

– Отсыпь. Спички-то есть?

– Есть.

Парень отсыпал себе листовухи, бросил кисет старику. Тот закурил тоже. Сидели шагах в пяти друг от друга.

– Ушли эти?.. Ночные-то.

– Спят. Они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку валяют. Погулять охота, а в районе у себя не шибко разгуляешься – на виду. Вот они и идут с глаз долой.

– А кто они?

– Начальство... Заряды зря переводют,

– М-да...

– Ты чо же думал: не догоню я тебя?

– Ничего я не думал. А одного-то ты знаешь. Кто это? По фамилии называл...

Протокин, что ли.

– В собесе работает. Пенсию старухе хлопотал, видел его там...

Парень пытливо посмотрел на старика:

– Это там, где путевки на курорт выписывают?

– Ага.

– Темнишь, старичок. Неужели посадить хочешь? Из-за ружья...

– На кой ты мне хрен нужен – сажать? – искренне сказал Никитич.

– Продай ружье? У меня деньги есть.

– Нет, – твердо сказал Никитич. – Спросил бы с вечера – подобра, может, продал бы. А раз ты так по-свински сделал, не продам.

– Не мог же я ждать, когда они проснутся.

– На улицу бы меня ночью вызвал: так и так, мол, отец: мне шибко неохота с этими людьми разговаривать. Продай, мол, ружье – я уйду. А ты... украл. За воровство у нас руки отрубают.

Парень положил локти на колени, склонился головой на руки. Сказал глуховато:

– Спасибо, что не выдал вчера.

– Не дойдешь ты до своей воли все одно.

Парень вскинул голову:

– Почему?

– Через всю Сибирь идти – шутка в деле!

– Мне только до железной дороги, а там поезд. Документы есть. А вот здесь без ружья... здесь худо. Продай, а?

- Нет, даже не упрашивай.
- Я бы теперь новую жизнь начал... Выручил бы ты меня, отец...
- А документы-то где взял? Ухлопал, поди, кого-нибудь?
- Документы тоже люди делают.
- Фальшивые. Думаешь, не поймают с фальшивыми?
- Ты обо мне... прямо как родная мать заботишься. Заладил, как попугай: поймают, поймают. А я тебе говорю: не поймают.
- А шампанскую-то на какие шиши будешь распивать?.. Если честно-то робить пойдешь.
- Сдуру я вчера натрепался, не обращай внимания. Захмелел.
- Эх, вы...– Старик сплюнул желтую едкую слюну на снег.– Жить бы да жить вам, молодым... А вас... как этих... как угорелых по свету носит, места себе не можете найти. Голод тебя великий воровать толкнул? С жиру беситесь, окаянные. Петух жареный в зад не клевал...
- Как сказать, отец...
- Кто же тебе виноватый?
- Хватит об этом,– попросил парень.– Слушай...– Он встревоженно посмотрел на старика. – Они ж сейчас проснутся, а ружья – нет. И нас с тобой нет... Искать кинутся.
- Они до солнышка не проснутся.
- Откуда ты знаешь?
- Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избешке теплынь: разморит – до обеда проспят. Им торопиться некуда.
- М-да...-грустно сказал парень,-Дела-делишки.
- Повалил вдруг снег большими густыми хлопьями – теплый, тяжелый.
- На руку тебе.– Никитич посмотрел вверх.
- Что? – Парень тоже посмотрел вверх.
- Снег-то... Заметет все следы.
- Парень подставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки таяли на ладони.
- Весна скоро...– вздохнул он.
- Никитич посмотрел на него, точно хотел напоследок покрепче запомнить такого редкостного здесь человека.
- Представил, как идет он один, ночью... без ружья.
- Как ночуешь-то?
- У огня покемарю... Какой сон.
- Хоть бы уж летом бегали-то. Все легче,
- Там заявок не принимают – когда бежать легче. Со жратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки к спине прирастают. Ну ладно. Спасибо за хлеб-соль. – Парень поднялся. – Иди, а то проснутся эти твои... Старик медлил.
- Знаешь... есть один выход из положения,– медленно заговорил он.Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к трем ночи дойдешь до деревни, где я живу...
- Ну?
- Не понужай. Дойдешь. Постучишь в какую-нибудь крайнюю избу: мол, ружье нашел... или... нет, как бы придумать?.. Чтоб ты ружье-то оставил. А там от нашей деревни прямая дорога на станцию – двадцать верст. Там уж не страшно. Машины ездют. К свету будешь на станции.Только там займка одна попадется, от нее, от займки-то, ишо одна дорога влево пойдет, ты не ходи по ей – это в район. Прямо иди.
- Отец...
- погоди! Как с ружьем-то быть? Скажешь: нашел – перепугаются, искать пойдут. А совсем ружье отдавать жалко. Мне за него, хоть оно старенькое, три вот таких не надо,– Никитич показал на новую переломку.
- Парень благодарно смотрел на старика и еще старался, наверно, чтобы благодарности в глазах было больше.

- Спасибо, отец,
- Чего спасибо? Как я ружье-то получу?
- Парень встал, подошел к старику, присел рядом.
- Сейчас придумаем... Я его спрячу где-нибудь, а ты возьмешь потом.
- Где спрячешь?
- В стогу каком-нибудь, недалеко от деревни,
- Никитич задумался.

– Чего ты там разглядишь ночью?.. Вот ишо: постучишь в крайнюю избу, спросишь, где Мазаев Ефим живет. Тебе покажут. Это кум мой, К Ефиму придешь и скажешь: стретил, мол, Никитича в тайге, он повел иологов в Змеиную согру. Патроны, мол, у него кончились, а чтоб с ружьем зря не таскаться, он упросил меня занести его тебе. И чтоб ждали меня к послезавтрему! А што я повел иологов, пусть он никому не говорит. Заработает, мол, придет – выпьете вместе, а то старуха все деньги отберет сразу. Запомнил? Щас мне давай на литровку – а то от Ефима потом не отвяжешься – и с богом. Патронов даю тебе... шесть штук. И два картечных – на всякий случай. Не истратишь – возле деревни закинь в снег подальше, Ефиму не отдавай – он хитрый, зачует неладное. Все запомнил?

– Запомнил. Век тебя не забуду, отец.

– Ладно... На деревню держись так: солнышко выйдет-ты его все одно увидишь – пусть оно сперва будет от тебя слева. Солнышко выше, а ты его все слева держи. А к закату поворачивай, чтоб оно у тебя за спиной очутилось, чуток с правого уха. А там – прямо. Ну, закурим на дорожку... Закурили.

– Сразу как-то не о чем стало говорить. Посидели немного, поднялись.

– До свиданья, отец, спасибо.

– Давай.

И уж пошли было в разные стороны, но Никитич остановился, крикнул парню:

– Слышь!.. А вить ты, парень, чуток не вляпался: Протокин-то этот – начальник милиции. Хорошо, не разбудил вчерась... А то бы не отвертеться тебе от него – дошлый, черт.

Парень ничего не говорил, смотрел на старика.

– Он бы щас: откуда? куда? Никакие бы документы не помогли.

Парень промолчал.

– Ну шагай.– Никитич подкинул на плече чужое ружье и пошел через просеку назад, к избушке. Он уже почти прошел ее всю, просеку... И услышал: как будто над самым ухом оглушительно треснул сук. И в то же мгновение сзади, в спину и в затылок, как в несколько кулаков, сильно толкнули вперед. Он упал лицом в снег. И ничего больше не слышал и не чувствовал. Не слышал, как закидали снегом и сказали: "Так лучше, отец. Надежнее".

...Когда солнышко вышло, парень был уже далеко от просеки. Он не видел солнца, шел, не оглядываясь, спиной к нему. Он смотрел вперед.

Тихо шуршал в воздухе сырой снег.

Тайга просыпалась.

Весенний густой запах леса чуть дурманил и кружил голову.

Осенью

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

– Никак не могут уняться! – сказал он сердито.

– Кого ты опять? – спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

– Бомбят! – Филипп кивнул на репродуктор.

– Кого бомбят?

– Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться – некогда, она собиралась на базар. Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому. Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать – плотничать – он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше – к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь – от дома до паромы, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много – убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто и сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: "Они мне коня много давали – я просил за дровами?.." Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. "Да ты что, Егор, – говорил он мужику, – да рази можно сравнивать?! Вот дак раз! Тут политическое дело, а ты с каким-то конем: спутал телятину с..." И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: "Ты им скажи там..." Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. "Ну народ! – думал он, весь объятый заботами большого дела. – Обормоты дремучие". С годами активность Филиппа слабела, и тут его в голову-то шваркнуло – не по силам стало активничать и волноваться. Но он по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая – нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода – на машинах-то, с лентами-то, – но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал – нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удасть. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс – покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой – они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица, Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатах. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила – дело шло к свадьбе, Но связался Филипп с комсомольцами... И опять же: сам комсомольцем не был, но кричал и ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских,

против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи – хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, тут как тут: тоже против венчанья, А Марья – нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов: хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья – искусство, редкое на селе), убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться, и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей, Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посылно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. Попервости было так тяжело, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья – по правилам гражданского брака – детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: "Вы защищаете ваших матерей, жен...", Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится – и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то (не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марьи: "Не совестно было? В церкву-то поперся..." На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: "А чего мне совестно-то должно быть?" – "Старикам-то поддался". – "Я не поддался, – сказал Павел, – я сам хотел венчаться". – "Вот я и спрашиваю, – растерялся Филипп, – не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?.. Мы же так никогда из темноты не вылезем". На это Павел заматерился. Сказал: "Пошли вы!.." И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует, Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так – носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но притерпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки – ветер пронизывал до костей и душа чего-то заскулила. Заныла, прямо затревожилась.

"Раза два еще сплаваю и пойду на обед", – решил Филипп.

Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у паромов всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

"Кого же это? – подумал Филипп, вглядываясь в людей. – Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же – откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?"

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоящих у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут... Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья

сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию. Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладилась держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то.. Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло,

Паром стукнулся о шаткий припоромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припоромка, закличили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припоромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп как замороженный стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью... Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

– Где ставить-то?! – крикнул шофер.

– А?

– Где ставить-то?

– Да ставь... – Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это?

Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу.

Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

– Что, Павел?... – спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда – гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: "Марьюшка, Марья..." Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город; то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот-нету Марья.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать! Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же быть? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

"Да проститься же надо было!.. – понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. – Хоть проститься-то!.. Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!" И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать – провезти, и все. Ведь если чье это горе, так больше всего – его горе, В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, незабытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом – самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал,

что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжело – он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с паррома: последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

– Догони-ка крытую... с гробом, – попросил он, залезая в кабину.

– А чего?... Зачем?

– Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали. Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу.

– Это краюшкинские, что ли? – спросил он, кивнув на крытую машину впереди. Филипп молча кивнул.

– Родня, что ли? – еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередине кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми – и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

– Обогнать, что ли? – спросил шофер.

– Обгони... И сади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится... Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь... Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова.

– Павел... – сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить. – Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

– Иди отсюда! – негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь.

Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. Иди!.. – закричал Павел, и еще толкнул, и еще – да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

Срезал

К старухе Агафье Журавлевой приехал сын Константин Иванович. С женой и дочерью. Попроведовать, отдохнуть.

Деревня Новая – небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси прикатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника... Сразу вся деревня узнала: к Агафье приехал сын с семьей, средний, Костя, богатый, ученый.

К вечеру узнали подробности: он сам – кандидат, жена – тоже кандидат, дочь – школьница. Агафье привезли электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки.

Вечером же у Глеба Капустина на крыльце собрались мужики. Ждали Глеба. Про Глеба надо сказать, чтобы понять, почему у него на крыльце собрались мужики и чего они ждали.

Глеб Капустин – толстогубый, белобрысый мужик сорока лет, начитанный и ехидный. Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть она небольшая, много вышло знатных людей: один полковник, два летчика, врач, корреспондент... И вот теперь Журавлев –

кандидат. И как-то так повелось, что, когда знатные приезжали в деревню на побывку, когда к знатному земляку в избу набивался вечером народ – слушали какие-нибудь дивные истории или сами рассказывали про себя, если земляк интересовался, – тогда-то Глеб Капустин приходил и срезал знатного гостя. Многие этим были недовольны, но многие, мужики особенно, просто ждали, когда Глеб Капустин срежет знатного. Даже не то что ждали, а шли раньше к Глебу, а потом уж – вместе – к гостю. Прямо как на спектакль ходили. В прошлом году Глеб срезал полковника – с блеском, красиво. Заговорили о войне 1812 года... Выяснилось, полковник не знает, кто велел поджечь Москву. То есть он знал, что какой-то граф по фамилию перепутал, сказал – Распутин. Глеб Капустин коршуном взмыл над полковником... И срезал. Переволновались все тогда, полковник ругался... Бегали к учительнице домой – узнавать фамилию графа-поджигателя. Глеб Капустин сидел красный в ожидании решающей минуты и только повторял: "Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях, верно?" Глеб остался победителем; полковник бил себя кулаком по голове и недоумевал. Он очень расстроился. Долго потом говорили в деревне про Глеба, вспоминали, как он только повторял: "Спокойствие, спокойствие товарищ полковник, мы же не в Филях". Удивлялись на Глеба. Старики интересовались – почему он так говорил.

Глеб посмеивался. И как-то мстительно щурил свои настырные глаза. Все матери знатных людей в деревне не любили Глеба. Опасались. И вот теперь приехал кандидат Журавлев...

Глеб пришел с работы (он работал на пилораме), умылся, переоделся... Ужинать не стал. Вышел к мужикам на крыльцо.

Закурили... Малость поговорили о том о сем – нарочно не о Журавлеве. Потом Глеб раза два посмотрел в сторону избы бабки Агафьи Журавлевой.

Спросил:

– Гости к бабке приехали?

– Кандидаты!

– Кандидаты? – удивился Глеб. – О-о!.. Голой рукой не возьмешь.

Мужики посмеялись: мол, кто не возьмет, а кто может и взять. И посматрив с нетерпением на Глеба.

– Ну, пошли попроведаем кандидатов, – скромно сказал Глеб.

И пошли.

Глеб шел несколько впереди остальных, шел спокойно, руки в карманах, щурился на избу бабки Агафьи, где теперь находились два кандидата.

Получалось вообще-то, что мужики ведут Глеба. Так ведут опытного кулачного бойца, когда становится известно, что на враждебной улице объявился некий новый ухарь.

Дорогой говорили мало.

– В какой области кандидаты? – спросил Глеб.

– По какой специальности? А черт его знает... Мне бабенка сказала – кандидаты. И он и жена...

– Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательные, эти в основном трепалогией занимаются.

– Костя вообще-то в математике рубил хорошо, – вспомнил кто-то, кто учился с Костей в школе. – Пятерочник был.

Глеб Капустин был родом из соседней деревни и здешних знатных людей знал мало.

– Посмотрим, посмотрим, – неопределенно пообещал Глеб. – Кандидатов сейчас как нерезанных собак,

– На такси приехал...

– Ну, марку-то надо поддержать!.. – посмеялся Глеб.

Кандидат Константин Иванович встретил гостей радостно, хлопотал насчет стола...

Гости скромно подождали, пока бабка Агафья накрыла стол, поговорили с кандидатом, повспоминали, как в детстве они вместе...

– Эх, детство, детство! – сказал кандидат. – Ну, садитесь за стол, друзья. Все сели за

стол. И Глеб Капустин сел. Он пока помалкивал. Но – видно было – подбирался к прыжку. Он улыбался, поддакнул тоже насчет детства, а сам все взглядывал на кандидата – примеривался.

За столом разговор пошел дружнее, стали уж вроде и забывать про Глеба Капустина... И тут он попер на кандидата.

– В какой области выявляете себя? – спросил он.

– Где работаю, что ли? – не понял кандидат.

– Да.

– На филфаке.

– Философия?

– Не совсем... Ну, можно и так сказать.

– Необходимая вещь. – Глебу нужно было, чтоб была – философия. Он оживился. – Ну, и как насчет первичности?

– Какой первичности? – опять не понял кандидат. И внимательно посмотрел на Глеба, И все посмотрели на Глеба.

– Первичности духа и материи. – Глеб бросил перчатку. Глеб как бы стал в небрежную позу и ждал, когда перчатку поднимут.

Кандидат поднял перчатку.

– Как всегда, – сказал он с улыбкой. – Материя первична...

– А дух?

– А дух – потом. А что?

– Это входит в минимум? – Глеб тоже улыбался. – Вы извините, мы тут... далеко от общественных центров, поговорить хочется, но не особенно-то разбежишься – не с кем. Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

– Как всегда определяла. Почему – сейчас?

– Но явление-то открыто недавно. – Глеб улыбнулся прямо в глаза кандидату. – Поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определит это так, стратегическая философия-совершенно иначе...

– Да нет такой философии – стратегической! – заволновался кандидат. Вы о чем вообще-то?

– Да, но есть диалектика природы, – спокойно, при общем внимании продолжал Глеб. – А природу определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не наблюдается среди философов?

Кандидат искренне засмеялся. Но засмеялся один... И почувствовал неловкость. Позвал жену:

– Валя, иди, у нас тут... какой-то странный разговор!

Валя подошла к столу, но кандидат Константин Иванович все же чувствовал неловкость, потому что мужики смотрели на него и ждали, как он ответит на вопрос.

– Давайте установим, – серьезно заговорил кандидат, – о чем мы говорим.

– Хорошо. Второй вопрос: как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?

Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся. И терпеливо ждал, когда кандидаты отсмеются.

– Нет, можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами... – Глеб опять великодушно улыбнулся. Особо улыбнулся жене кандидата, тоже кандидату, кандидатке, так сказать. – Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать. Верно?

– Вы серьезно все это? – спросила Валя.

– С вашего позволения, – Глеб Капустин привстал и сдержанно поклонился кандидатке. И покраснел. – Вопрос, конечно, не глобальный, но, с точки зрения нашего брата, было бы интересно узнать.

- Да какой вопрос-то? – воскликнул кандидат.
- Твое отношение к проблеме шаманизма.– Валя опять невольно засмеялась. Но спохватилась и сказала Глебу: – Извините, пожалуйста.
- Ничего,– сказал Глеб.– Я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос...
- Да нет такой проблемы! – опять сплеча рубанул кандидат. Зря он так. Не надо бы так. Теперь засмеялся Глеб. И сказал:
- Ну, на нет и суда нет!
- Мужики посмотрели на кандидата.
- Баба с возу – коню легче,– еще сказал Глеб.– Проблемы нету, а эти... Глеб что-то показал руками замысловатое,– танцуют, звенят бубенчиками... Да? Но при желании... – Глеб повторил: – При же-ла-нии-их как бы нету. Верно? Потому что, если... Хорошо! Еще один вопрос: как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума?
- Кандидат молча смотрел на Глеба.
- Глеб продолжал:
- Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите, допускается, что внутри живут разумные существа...
- Ну? – спросил кандидат.– И что?
- Где ваши расчеты естественных траекторий? Куда вообще вся космическая наука может быть приложена?
- Мужики внимательно слушали Глеба.
- Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно допустить также, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам навстречу. Готовы мы, чтобы понять друг друга?
- Вы кого спрашиваете?
- Вас, мыслителей...
- А вы готовы?
- Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Но если вам это интересно, могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь?
- Мужики засмеялись. Пошевелились. И опять внимательно уставились на Глеба.
- Но нам тем не менее надо понять друг друга. Верно? Как? – Глеб помолчал вопросительно. Посмотрел на всех.– Я предлагаю: начертить на песке схему нашей солнечной системы и показать ему, что я с Земли, мол. Что, несмотря на то что я в скафандре, у меня тоже есть голова и я тоже разумное существо. В подтверждение этого можно показать ему на схеме, откуда он: показать на Луну, потом на него. Логично? Мы, таким образом, выяснили, что мы соседи. Но не больше того! Дальше требуется объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой есть на данном этапе...
- Так, так.– Кандидат пошевелился и значительно посмотрел на жену. Это очень интересно: по каким законам?
- Это он тоже зря, потому что его значительный взгляд был перехвачен; Глеб взмыл ввысь... И оттуда, с высокой выси, ударил по кандидату. И всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот такой момент – когда Глеб взмывал вверх. Он, наверно, ждал такого момента, радовался ему, потому что дальше все случалось само собой.
- Приглашаете жену посмеяться? – спросил Глеб. Спросил спокойно, но внутри у него, наверно, все вздрагивало. – Хорошее дело... Только, может быть, мы сперва научимся хотя бы газеты читать? А? Как думаете? Говорят, кандидатам это тоже не мешает...
- Послушайте!..
- Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство – это ведь не костюм, который купил – и раз и навсегда. Но даже костюм и то надо иногда чистить. А кандидатство, если уж мы договорились, что это не костюм, тем более надо... поддерживать. – Глеб говорил негромко, но напористо и без передышки – его несло. На кандидата было неловко смотреть: он явно

растерялся, смотрел то на жену, то на Глеба, то на мужиков... Мужики старались не смотреть на него.– Нас, конечно, можно тут удивить: подкатить к дому на такси, вытащить из багажника пять чемоданов... Но вы забываете, что поток информации сейчас распространяется везде равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно понадеяться, что тут кандидатов в глаза не видели, а их тут видели – кандидатов, и профессоров, и полковников. И сохранили о них приятные воспоминания, потому что это, как правило, люди очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно: падать будет не так больно.

– Это называется – "покатил бочку", – сказал кандидат, – Ты что, с цепи сорвался? В чем, собственно...

– Не знаю, не знаю, – торопливо перебил его Глеб, – не знаю, как это называется – я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут, оглядел Глеб мужиков, – тоже никто не сидел – не поймут, А вот и жена ваша сделала удивленные глаза... А там дочка услышит. Услышит и "покатит бочку" в Москве на кого-нибудь. Так что этот жаргон может... плохо кончиться, товарищ кандидат. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не "катали бочку" на профессора. Верно? – Глеб встал.– И "одеяло на себя не тянули". И "по фене не ботали". Потому что профессоров надо уважать–от них судьба зависит, а от нас судьба не зависит, с нами можно "по фене ботать". Так? Напрасно. Мы тут тоже немножко... "микитим". И газеты тоже читаем, и книги, случается, почитываем... И телевизор даже смотрим. И, можете себе представить, не приходим в бурный восторг ни от КВН, ни от "Кабачка "13 стульев". Спросите, почему? Потому что там – та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает... Скромней надо.

– Типичный демагог-кляузник, – сказал кандидат, обращаясь к жене. Весь набор тут...

– Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал.– Глеб посмотрел на мужиков: мужики знали, что это правда.– Не то, товарищ кандидат. Хотите, объясню, в чем моя особенность?

– Хочу, объясните.

– Люблю по носу щелкнуть – не задирайся выше ватерлинии! Скромней, дорогие товарищи...

– Да в чем же вы увидели нашу нескромность? – не вытерпела Валя.– В чем она выразилась-то?

– А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько. Подумайте – и поймете.– Глеб даже как-то с сожалением посмотрел на кандидатов.– Можно ведь сто раз повторить слово "мед", но от этого во рту не станет сладко. Для этого не надо кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Верно? Можно сотни раз писать во всех статьях слово "народ", но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленной, что ли. А то легко можно в дураках очутиться. До свиданья. Приятно провести отпуск... среди народа.– Глеб усмехнулся и не торопясь вышел из избы. Он всегда один уходил от знатных людей.

Он не слышал, как потом мужики, расходясь от кандидатов, говорили:

– Оттянул он его!.. Дошлий, собака. Откуда он про Луну-то так знает? – Срезал.

– Откуда что берется!

И мужики изумленно качали головами.

– Дошлий, собака, Причесал бедного Константина Иваныча... А?

– Как миленького причесал! А эта-то, Валя-то, даже рта не открыла,

– А что тут скажешь? Тут ничего не скажешь. Он, Костя-то, хотел, конечно, сказать...

А тот ему на одно слово – пять.

– Чего тут... Дошлий, собака!

В голосе мужиков слышалась даже как бы жалость к кандидатам, сочувствие. Глеб же

Капустин по-прежнему неизменно удивлял. Изумлял, Восхищал даже. Хоть любви, положим, тут не было. Нет, любви не было. Глеб жесток, а жестокость никто, никогда, нигде не любил еще.

Завтра Глеб Капустин, придя на работу, между прочим (играть будет), спросит мужиков:

– Ну, как там кандидат-то?

И усмехнется.

– Срезал ты его, – скажут Глебу.

– Ничего, – великодушно заметит Глеб. – Это полезно. Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя...

Солнце, старик и девушка

Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие.

Сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катунь выходил древний старик, садился всегда на одно место – у коряги – и смотрел на солнце. Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях – коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седеющая. Под синей ситцевой рубашкой торчат острые лопатки.

Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:

– Здравствуйте, дедушка!

Старик кивнул головой.

С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках.

– Отдыхаете?

Старик опять кивнул головой. Сказал;

– Отдыхаю.

На девушку не посмотрел.

– Можно, я вас буду писать? – спросила девушка.

– Как это? – не понял старик.

– Рисовать вас.

Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.

– Я ж некрасивый теперь, – сказал он.

– Почему? – Девушка несколько растерялась. – Нет, вы красивый, дедушка.

– Вдобавок хворый.

Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую, коричневую руку и сказала:

– Вы очень красивый, дедушка. Правда.

Старик слабо усмехнулся:

– Рисуй, раз такое дело.

Девушка раскрыла свой чемодан.

Старик покашлял в ладонь:

– Городская, наверно? – спросил он.

– Городская.

– Платют, видно, за это?

– Когда как, вообще-то, Хорошо сделаю, заплатят.

– Надо стараться.

– Я стараюсь.

Замолчали.

Старик все смотрел на солнце.

Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.

- Вы здешний, дедушка?
- Здешний.
- И родились здесь?
- Здесь, здесь.
- Вам сколько сейчас?
- Годков-то? Восемьдесят.
- Ого!
- Много, – согласился старик и опять слабо усмехнулся. – А тебе?
- Двадцать пять.
- Опять помолчали.
- Солнце-то какое! – негромко воскликнул старик.
- Какое? – не поняла девушка.
- Большое.
- А-а... Да. Вообще красиво здесь.
- А вода вона, вишь, какая... У того берега-то...
- Да, да.
- Ровно крови подбавили.
- Да. – Девушка посмотрела на тот берег. – Да.

Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине – между рекой и горами – тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго – тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полыхать заря.

– Ушло солнышко, – вздохнул старик.

Девушка сложила листы в ящик.

Некоторое время сидели просто так – слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны.

В долине большими клочьями пополз туман.

В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.

– Хорошо, – сказал негромко старик.

А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и этого старика. А ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: "Опять морщины!.. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?.."

Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки... Опять морщины! "Надо работать, работать, работать..."

– Вы завтра придете сюда, дедушка? – спросила она старика.

– Приду, – откликнулся тот.

Девушка поднялась и пошла в деревню.

Старик посидел еще немного и тоже пошел.

Он пришел домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо сидел – ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать.

Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо. Садись ужинать.

Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку – старался не шуметь. Молчали.

Потом укладывались спать.

Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить?

Все слова давно сказаны,

На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал:

– Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много – четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет; ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много, Любют меня. По городам все теперь...

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала.

– Трудно было жить? – невпопад спрашивала она.

– Чего ж трудно? – удивлялся старик. – Я ж тебе рассказываю: хорошо жили.

– Сыновей жалко?

– А как же? – опять удивлялся старик. – Четырех таких положить – шутка нешто?

Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью.

А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.

– Ненастье завтра будет, – сказал старик.

Девушка посмотрела на ясное небо:

– Почему?

– Ломает меня всего.

– А небо совсем чистое.

Старик промолчал.

– Вы придете завтра, дедушка?

– Не знаю, – не сразу откликнулся старик. – Ломает чего-то всего,

– Дедушка, как у вас называется вот такой камень? – Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом камешек.

– Какой? – спросил старик, продолжая смотреть на горы.

Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.

– Такой? – спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих, скрюченных пальцах. – Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали.

Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.

– На... камешек-то, – сказал он и протянул девушке камень. – Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко – не отличишь. Бывают: на сорочье яичко похож – с крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов, – синенькие, тоже с рябинкой с такой.

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой.

– Вы где живете, дедушка?

– А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, – старик показал дом на берегу, – дальше – Бедаревы, потом – Волокитины, потом – Зиновьевы, а там уж, в переулочке, – наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко весело было.

– Спасибо.

– Я пошел. Ломает меня.

Старик поднялся и пошел тропинкой в гору.

Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно и смотрел под ноги. "Нет, не слепой, – поняла девушка. – Просто слабое зрение".

На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике, Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. "Солнце – оно тоже просто встает и просто заходит, – думала девушка. – А разве

это просто!" И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно.

Не пришел старик и на третий день и на четвертый.

Девушка пошла искать его дом.

Нашла.

В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску.

– Здравствуйте,– сказала девушка.

Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул:

– Здорово.

– Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка...

Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.

– Жил,– сказал мужик.– Вот домовину ему делаю.

Девушка приоткрыла рот:

– Он умер, да?

– Помер.– Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку.– А тебе чего надо было?

– Так... я рисовала его,

– А-а.– Мужик резко зашаркал рубанком.

– Скажите, он слепой был? – спросила девушка после долгого молчания.

– Слепой.

– И давно?

– Лет десять уж. А что?

– Так...

Девушка пошла из ограды,

На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.

Степка

И пришла весна – добрая и бестолковая, как незрелая девка.

В переулках на селе – грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из "Заготскота", то и останется он у него в руках, ибо дяди из "Заготскота" все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лают на чем свет стоит:

– Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я должен каждую весну плетень починять?!

– Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

– А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай...

– А тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега. А в тополях, у речки, что-то звонко лопаются с тихим ликующим звуком: пи-у. Лед прошел на реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше – умирать. Шалый сырой ветерок кружится и кружит голову... Остро пахнет навозом. Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе... Прожит день. Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры – завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о

чем: что, может, жизнь – судьба эта самая – могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?.. А в общем-то и так ничего – сойдет.

В такой-то задумчивый, хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул, И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне – тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай шурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его – Степан.

– Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

– Степка, что ли?

– Но... Ты чо, не узнал?

– Хот!.. Язви тя... Я уж думал, причудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу... Обнялись, чмокнулись.

– Пришел?

– Пришел.

– Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

– Отработал... отпустили пораньше.

– Хот... Язви тя!.. – Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать, – А Борозя-то живой ишо, – сказал.

– Ну? – удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Тоже рад был видеть отца. – А где он?

– А шалается где-нибудь. Этта в субботу вывесили бабы бельишко сушить – все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

– Шалавый дурак.

– Хотел уж пристрелить его, да подумал; придешь – обидишься...

Присели на верстак, закурили.

– Наши здоровы? – спросил Степан.

– Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

– Ничо, хорошо. Работали.

– В шахтах небось?

– Нет, зачем – лес валили.

– Ну да. – Ермолай кивнул головой. – Дурь-то вся вышла?

– Та-а... – Степан поморщился. – Не в этом дело, тять.

– Ты вот, Степка... – Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. Понял теперь: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться... Тут без этого...

– Не в этом дело, – опять сказал Степан.

В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окуроч... Поднял свой хилый вещмешок.

– Пошли в дом, покажемся,

– Немая-то наша, – заговорил отец, поднимаясь, – чуток замуж не вышла. Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

– Ну? – удивился Степан.

И смех и грех...

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

– Приходит один раз из клуба и маячит мне: жениха, мол, приведу, Я, говорю, те сейчас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

– Может, зря?

– Что зря? Зря... Обмануть надумал какой-то – и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу...

– Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама "невеста" – крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

– Мэ-эм, мм,– мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

– Вот те и "мэ",– сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. Ждала все, крестики на стене ставила – сколько дней осталось,– пояснил он Степану.– Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

– Ладно тебе,– сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий.

И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже, и не мог оттолкнуть сестру.

– Ты гляди, – смущенно бормотал он. – Ну, хватит, хватит... Ну, все...

– Да пусть уж,– сказал отец и опять вытер глаза.– Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

– Ну как живешь-то? – спросил.

Сестра показала руками – "хорошо".

– У ей всегда хорошо,– сказал отец, поднимаясь на крыльцо.– Пошли мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:

– Господи-батюшка, отец небесный, услышал ты мои молитвы, долетели они до тебя...

Всем стало как-то не по себе.

– Ты, мать, и радуйся и горюешь – все одинаково,– строго заметил Ермолай.– Что захлюпала-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо.

– Да я и радуюсь, не радуюсь, что ли...

– Ну и не реви.

– Здоровый ли, сынок? – спросила мать.– Может, по хвори какой раньше-то отпустили?

– Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили.

Стали приходиться соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая, красивая баба с круглым, добрым лицом. Еще в сенях говорила излишне радостно и запыленно:

– А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда – Степан...

Степан улыбнулся ей:

– Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

– От тебя, как от печки, пышет,– сказал Степан.– Замуж-то не вышла?

– А где они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню.

– А тебе что, пять надо?

– Я, может, тебя ждала? – Нюра засмеялась,

– Пошла к дьяволу, Нюрка! – возревновала мать.– Не крутись тут – дай другим поговорить. Шибко чижало было, сынок?

– Да нет,– стал рассказывать Степан.– Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там – в неделю два раза. А хошь – иди в красный уголок, там тебе лекцию

прочитают: "О чести и совести советского человека" или "О положении рабочего класса в странах капитала".

– Что же, вас туда собрали кино смотреть? – спросила Нюра весело,

– Почему?.. Не только, конечно, кино...

– Воспитывают, – встрял в разговор отец. – Мозги дуракам вправляют.

– Людей интересных много, – продолжал Степан. – Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

– А эти за что?

– Один – за какую-то аварию на фабрике, другой – за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

– Может, врет, что инженер? – усомнился отец.

– Там не соврешь. Там все про всех знают.

– А кормили-то ничего? – спросила мать.

– Хорошо, всегда почти хватало. Ничего.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводининых. Степан снова и снова принимался рассказывать:

– Да нет, там, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы – в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... Один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили "хм", "ты гляди", пытались сами что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

– А насчет охраны строго?

– Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

– А бегут?

– Мало. Смысла нет.

– А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

– В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то – уркаганов, а нас редко.

– Вот жуликов-то, наверно, где! – воскликнул один простодушный парень. Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

– Там у нас строго за это, – пояснил Степан. – Там если кого заметят, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку... Кто принес сальца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в туеске – праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться... И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

Прости мне, ма-ать,
За все мои поступки,
Что я порой не слушалась тебя-а!..

На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

Эх, я думала-а, что тюрьма д это шутка,
И этой шуткой сгубила д я себя-а!

– пел Степан.

Песня не понравилась – не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их...

– Блатная! – с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме – сплошное жулье.– Тихо вы!

– Чо же, сынок, баб-то много сидит? – спросила мать с другого конца стола.

– Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там несладко.

– И вить дети небось пооставались.

– Детей – в приюты...

– А я бы баб не сажал! – сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. Я бы им подолю на голову – и ремнем!

– Не поможет,– заспорил с ним Ермолай.– Если ты ее выпорол – так? – она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами – она мне со зла немую девку принесла.

Кто-то поднял песню. Свою. Родную:

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им...

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

... Три дня, три ноченьки старался -
Сестру из плена выруча-ал...

Увлечлись песней – пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

Злодей пустил злодейку пулю,
Уби-ил красавицу сестру-у.
Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть:
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-а!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

– Ты меня не любишь, не жалеешь! – сказал он громко.– Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь – кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели... Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм "подгорной". Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась – она была счастлива.

– Верка! Ве-ерк! – кричал изрядно подпивший мужичок.– Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так ходить-то! – Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке – просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

– Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насили насили вот так голову-то приподняла да спрашиваю: "К худу или к добру?" А она мне в самое ухо

дунула: "К добру!"

Пожилая баба покачала головой:

– К добру?

– К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

– Упредила.

– Упредила, упредила, А я ишо подумай вечером-то: "К какому добру, думаю, – мне соседка-то предсказала?" Только так подумала, а дверь-то открывается – и он вот он, на пороге,

– Господи, господи, – прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. – Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай недолго думая пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал... И приговаривал: "Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та". И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

– Давай, Ермил! – кричали Ермолаю, – У тя седня радость большая – шевелись!

– Ат-та, оп-па, – приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал – слегка сгорбатившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести – долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь:

– Давай, тять...

– Давай – батька с сыном! Шевелитесь!

– А Степка-то не изработался – взбрыкивает.

– Он же говорит: им там хорошо было. Жрать давали...

– Там дадут – догонют да еще дадут.

– Ат-та, оп-па!..-приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно – старались. Людям нравилось, смотрели на них с удовольствием,

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, наверно, явиться Степану в сельсовет – оформить всякие там бумаги. Только нечаянно что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормозить отца. Тот спяну отмахнулся.

– Отстань, ну ты! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

– Ты что, сдурел, парень? – спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся:

– Чудно? Ничего... Бывает.

– Тебе же три месяца сидеть осталось!

– Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

– Пошли.

– Пошли.

– Может, скажешь дома-то?.. А то хватятся...

– Сегодня не надо – пусть погуляют. Завтра скажешь.

– Три месяца не досидеть и сбежать!.. – опять изумился милиционер. – Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

– А?

– Чего?

– Зачем ты это сделал-то?

– Сбежал-то? А вот-пройтись разок... Соскучился. Сны замучили.
– Так ведь три месяца осталось! – почти закричал участковый. – А теперь еще пару лет накинута.

– Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили – каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

– Н-да... – раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

– И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?

– Трое.

– А те где?

– Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.

– И сколько же ты добирался?

– Две недели.

– Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

– Оружия нет? – спросил участковый, отвлекаясь от протокола.

– Сроду никакой гадости не таскал с собой,

– Чем же ты питался в дороге?

– Они запаслись-те двое-то...

– А им по сколько оставалось?

– По много...

– Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул?

– Ладно, надоело! – обозлился Степан. – Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

– А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь – не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

– Небось смеялись над тобой те двое-то? – не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго, с любопытством смотрел на него. Сказал:

– А по лицу не скажешь, что дурак. – И продолжал сочинять протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

– Мэ-мм? – спросила брата.

Степан растерялся:

– Ты зачем сюда?

– Мэ-мм?! – замычала сестра, показывая на милиционера.

– Это сестра, что ли? – спросил тот.

– Ну...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечи и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: "Ты зачем увел его?!"

Участковый понял.

– Он... он, – показал на Степана, – сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. Участковый показал на окно и показал, как сбегают. – Нормальные люди в дверь выходят, а он в окно – раз, и ушел. И теперь ему будет... Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. – Теперь ему опять вот эта штука будет! Два! – Растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. Два года еще!

Немая стала понимать... И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер – тоже смотрел на сестру.

– Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди...

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее...

– Убери ее, – хрипло попросил Степан. – Убери!

– Как я ее уберу?..

– Убери, гад! – заорал Степан не своим голосом, – Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

– Скажи, что ты обманул, пошутил... Убери ее!

– Черт вас!.. Возись тут с вами, – ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. – Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! – пытался он втолковать ей. – Счас он придет!.. – Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. – Ну, здорова! – Он закрыл дверь на крючок. – Фу-у... Вот каких ты делов натворил – любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

– Вызываю машину – поедem в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы бежала, спотыкаясь, немая и горько плакала. Она торопилась всем сказать, закричать всем, которые пляшут и не знают, что брата опять зачем-то хотят увезти. Она торопилась.

Сураз

Спирьке Расторгуеву – тридцать шестой, а на вид – двадцать пять, не больше. Он поразительно красив: в субботу ходит в баню, пропарится, стащит с недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху – молодой бог! Глаза ясные, умные... Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как вороньего крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, тоже иногда шутит. Ну зачем ему? Он и сам говорит: "Это мне – до фени". Ему все фени. Тридцать шесть лет – ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое – машинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это – тоже "до фени". Как назло кому: любит постарше и пострашнее.

– Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся – к Лизке корявой, к терке!.. Неужели не совестно?

– С лица воду не пить, – резонно отвечает Спирька. – Она – терка, а душевней всех вас.

Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще он только был в пятом классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая обидчивая старушка из эвакуированных, пристально рассматривая Спирьку, говорила с удивлением:

– Байрон!.. Это поразительно, как похож!

Спирька возненавидел старушку.

Только подходило "Анна унд Марта баден", у него болела душа – опять пойдет: "Нет, это поразительно!.. Вылитый маленький Байрон". Спирьке это надоело. Однажды старушка завела по обыкновению:

– Невероятно, никто не поверит: маленький Бай...

– Да пошла ты к... – И Спирька загнул такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик.

У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила:

– Я не испугалась, нет, я была санитаркой в четырнадцатом году, я много видела и слышала... Но меня поразило: откуда он-то знает такие слова?! А какое прекрасное лицо!.. Боже, какое у него лицо – маленький Байрон!

"Байрона" немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали, вернули домой. Мать опять жестоко избила его... А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от "проезжего молодца" и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца: Спирька был вылитый отец, даже

характером сшибал, хоть в глаза не видал его.

В школу он больше не пошел, как мать ни билась и чем только ни лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз.

Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался... Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой:

– Давай, может, посадют.

И правда, посадили. После войны. С дружкой, таким же отпетым чухонцем, перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящи водки... Справились с мужиком! Да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной "марухи"... И тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти двое суток не могли взять – отстреливался. К нему подсылали "маруху" его, Верку-тараторку, – уговорить сдаться добром. Шалаболка Верка, тайком, под подолом, отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним.. Вышла и объявила гордо:

– Не выйдет к вам!

Спирька стрелял в окошечко и пел:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

– Спирька, каждый твой выстрел – лишний год! – кричали ему.

– Считайте – сколько?! – отвечал Спирька. И из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать... Выкинул ружье и вышел.

Пять лет "пыхтел".

Пришел – такой же размашисто-красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать – если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.

– Да чего бы тебе, Спиренька, андел ты наш?.. Чего бы тебе за это? – суется старики.

– Стакан водяры.– И смотрит с любопытством.– Что, ничего я мужик.

Пришел Спирька из тюрьмы... Дружков – никого, разъехались, "марухи" замуж повыходили. Думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шоферить. Так жил Спирька.

В село Ясное приехали по весне два новых человека, учителя: Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие – муж и жена. Сергей Юрьевич – учитель физкультуры, Ирина Ивановна – пения.

Сергей Юрьевич – невысокий, мускулистый, широченный в плечах... Ходил упруго, легко прыгал, кувырчался; любо глядеть, как он серьезно, с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусках, на кольцах... У него был необычайно широкий добрый рот, толстый, с нашлепкой нос и редкие, очень белые, крупные зубы.

Ирина Ивановна – маленькая, бледненькая, по-девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а скинет в учительской плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон,– откуда ладность явится, изящность. Невольно засматривались на нее.

Такая-то пара (было им по тридцать – тридцать два года) приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме, к старикам Прокудиным.

Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька, Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами (кстати сказать, Спирька, хоть пил, допьяна напивался редко), поговорит и уйдет.

Было под вечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к

Прокудиным.

– Пойду гляну, что за люди,– сказал матери.

Старики Прокудины вечеряли.

– Садись, Спиридон, похлебай.– Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели.

– Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?

– Там.– Старик кивнул на дверь горницы.– Укладываются.

– Как они?

– Ничо, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись, попробуй?

Спирька качнул головой, пошел в горницу. Стукнул в дверь:

– Можно?

– Войдите! – пригласили за дверью.

Спирька вошел,

– Здравствуйте!

– Здравствуйте! – сказали супруги. И невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда.

Спирька пошел знакомиться.

– Спиридон Расторгуев.

– Сергей Юрьевич.

– Ирина Ивановна. Садитесь, пожалуйста.

Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел всю ее, Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за стулом.. Несла стул, смотрела на Спирьку не то что удивленная – очень заинтересованная

Спирька сел.

Сергей Юрьевич смотрел на него.

– С приездом,– сказал Спирька.

– Спасибо.

– Пришел попроведать,– пояснил гость.– А то пока наш народ раскачается, засохнуть можно.

– Необщительный народ?

– Как везде: больше по своим углам.

– Вы здешний?

– Здешний. Чалдон.

– Сережа, я сготовлю чего-нибудь?

– Давай! – охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку.– Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье.

– Стаканчик можно пропустить,– согласился Спирька.– Откуда будете?

– Не очень далеко.

Ирина Ивановна пошла в комнату стариков; Спирька проводил ее взглядом.

– Как жизнь здесь? – спросил Сергей Юрьевич.

– Жизнь...– Спирька помолчал, но не искал слова, а жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка. Человек, он ведь как: полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая...– Нет, не хотелось говорить.– А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают, что надо.

– Зачем же? Она сама хозяйка. Так какая же у вас теперь полоса?

– Так-середка на половинке. Ничего вообще-то... – Ну решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. – Закурить можно?

– Курите.

– Учительствовать?

– Да.

– Она по кому учитель?

- По пению.
- Что, поет хорошо? – оживился Спирька.
- Поет...
- Может, споет нам?
- Ну... попросите, может, споет.
- Пойду скажу старикам... Зря она там!
- И Спирька вышел из горницы.
- Вернулись вместе – Ирина Ивановна и Спирька, Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало...
- Я согласилась не делать горячего, – сказала она.
- Хорошо, что согласилась.
- Да на кой оно!.. – чуть не сорвался Спирька на привычное определение. Милое дело – огурец да кусок сала! Верно? – Спирька глянул на хозяина.
- Тебе лучше знать, – резковато сказал Сергей Юрьевич,
- Спирьку обрадовало, что хозяин перешел на "ты" – так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги: ему стало хорошо. Сейчас – стаканчик водки, а там видно будет.
- Вместо водки на столе появился коньяк.
- Я сразу себе стакан, потом – ша: привык так. Можно?
- Спирьке любезно разрешили.
- Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы...
- Вот... – поежился, – Достали слой вечной мерзлоты, как говорят.
- Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И – то ли коньяк так сразу, то ли кровь – кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел... На душе захорошело.
- Мечтяк коньячишко, – похвалил он. – Дорогой только.
- Сергей Юрьевич засмеялся; Спирька не замечал его.
- Милое дело – самогон, да? – спросил Сергей Юрьевич. – Дешево и сердито.
- "Что бы такое рассказать веселое?" – думал Спирька.
- Самогон теперь редко, – сказал он, – Это в войну... – И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне... И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся:
- Рассказать, как я жил?
- Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа.
- Расскажи, расскажи, Спиридон, – попросил Сергей Юрьевич. – Это интересно – как ты жил.
- Спирька закурил.
- Я – сураз, – начал он.
- Как это? – не поняла Ирина Ивановна.
- Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил,
- Вы знаете его?
- Ни разу не видал, Как мать забрюхатела, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали – и ни слуху ни духу, Наверно, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать... – И так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так сразу-расхотелось, Мало веселого... Про лагерь, что ли? Спирька посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание: потрогать горлышко женщины, погладить.
- Он поднялся.
- Мне в рейс. Спасибо за угощение.
- Ночью в рейс? – удивилась Ирина Ивановна.
- У нас бывает. До свиданья. Я к вам еще приду.

Спирька, не оглянувшись, вышел из горницы,
– Странный парень,– сказала жена после некоторого молчания.
– Красивый, ты хотела сказать?
– Красивый, да.
– Красивый... Знаешь, он влюбился в тебя.
– Да?
– И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло?
– С чего ты взял?
– По скребло-о.
– Тебе хочется, чтобы поскребло?
– А что?.. Только... не получится у тебя.
Женщина посмотрела на мужа.
– Испугаешься,– сказал тот.– Для этого нужно мужество.
– Перестань,– сказала жена серьезно.– Чего ты?
– Мужество и, конечно, сила,– продолжал муж,– Надо, так сказать, быть в фс ме. Вот он – сумеет. Между прочим, он сидел в тюрьме.
– Почему ты решил?
– Не веришь? Иди спроси у стариков.
– Если тебе нужно, иди спрашивай,
– А что?
Муж вышел к старикам.
Через пять минут вернулся... И с наигранной торжественностью объявил:
– Пять лет! В лагерях строгого режима. За грабеж.
Отсыревший к вечеру, прохладный воздух хорошо свежил горячее лицо. Спирька шел, курил. Захотелось вдруг, чтоб ливанул дождь – обильный, чтоб резалось небо огневыми зазубринами, гремело сверху... И тогда бы – заорать, что ли.
Спирька направился в очередное "логово" – к Нюре Завьяловой.
Стукнул в окно.
– Ну? – недовольно спросила заспанная Нюра, смутно, белым пятном маяча окном.
Спирька молчал, думал про Нюру: один раз, в войну, когда Нюре было двадцать три и она была вдовой с двумя маленькими ребятишками, Спирька (ему тогда шел четы надцатый) ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна (ехали обозом в город молоть). Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо;
– Найди в огороде, у бани... Спрячь подальше!
А когда через два дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него:
– Ты што, Спирька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить?! Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь?..
Спирька опупел.
– Да не себе я, чего ты разоралась-то!
– Кому же?
– Тебе. Им же исть надо! – Про детей Нюриных. – Голодные же сидят...
Нюра заревела коровой, бросилась обнимать Спирьку. Спирька, расстроенный, матерился.
– Ну, и вот!.. Будешь им в ступке толочь да лепешки в золе печь – вкуснятина, сил нет...
Вот что вспомнилось вдруг.
– Чего стоишь-то? – спросила Нюра. – Дверь открыта... Стариков не разбуди.
Спирька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство: что она сейчас будет делать?
– Спирька!.. Ну, чего ты?
Молчание,
– Иди, что ли?

Молчание.

– Дурак заполошный... Разбудит, а потом начинает... Ну и иди к черту! – Нюра пошла к кровати,

Спирька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице,

– Чего выкобениваешься-то?

Спирьке нестерпимо стало жаль Нюру... Какого черта, действительно? Лучше не приходиться тогда.

– Все, Нюрок, спим.

Через три дня, вечером, Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома. Спирька побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная божья мать...

Пришла Ирина Ивановна. Одна. Свеженькая: внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось Спирьке, обрадовалась. Спокойный, решительный, Спирька прошел в горницу.

– Букетик, – предложил он, И подал женщине кроваво-красный пылающий букетик жарков.

– Ах!.. – обрадовалась женщина, – Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела...

– Жарки. – В груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину, Он не скрывал любви, Я вам теперь часто буду такие привозить.

– Да нет, зачем же?.. Это ведь труд лишний...

– Ох, – скокетничал Спирька, – труд! Мимо езжу, их там хоть литовкой коси... – Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался, ему было легко.

Женщина тоже засмеялась и смутилась, Спирька наслаждался: как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил – и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку... Как во сне! – только бы не просыпаться.

Женщина хотела отнять руку... Спирька не выпустил.

– Зачем вы?.. Не нужно.

– Почему не нужно? – Все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовало на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое, слабое существо. Он молил в душе; "Господи, помоги! Пусть она не брыкается!" Он повлек к себе женщину... Он видел, как расширились ее близкие удивленные глаза. Теперь – чтоб не дрогнула, не ослабла рука...

"Господи, мне больше пока ничего не надо – поцелую, и все". И поцеловал. И погладил белое нежное горлышко... И еще поцелова мягкие податливые губы. И тут вошел муж... Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины и испуг плеснулся в ее глазах... Спирька услышал за спиной насмешливый голос:

– Те же. И муж.

Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека... Хозяин пришел. И все у них есть, у дьяволов, везде они – желанные люди. Он смотрел на мужа.

– Лихой парень! Ну как, "удалось что-нибудь? – Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло, только нехорошо сузились глаза и толстые губы обиженно подождали. Он посмотрел на жену, – Что молчите? Что побледнела?! – Крик – злой, резкий – как бичом стегнул женщину. – Шлюха!.. Успела? – Муж шагнул к ней.

Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом... И еще уловил Спирька тонкий одеколониный холодок, исходящий от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича.

– Спокойно, – сказал Спирька.

В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы.

– Ну-ка, красавец, пойдём!..

Спирька ничего не мог сделать с рукой: ее как приварили к загревку, и крепост руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади.

Так проволокли Спирьку через комнату стариков; старики во все глаза смотрел на квартиранта и на Спирьку.

– Кота пакостливого поймал, – пояснил квартирант.

Ужас, что творилось в душе Спирьки!.. Стыд, боль, злоба – все там перемешалось: душило.

– Пидор, гад, – хрипел Спирька, – что ты делаешь?..

Вышли на крыльцо... Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльи и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги.

"Убью", – мелькнуло в Спирькиной голове.

Сергей Юрьевич спускался к нему...

– Вставай.

Спирька вскочил до того, как ему велели... И тотчас опять полетел на землю. И с ужасом и с брезгливостью понял: "Он же бьет меня!" И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун – к горлу физкультурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу. Спирьку бросило назад; он почувствовал медь во рту. Опять бросился на учителя... Он умел драться, но ярость, боль, позор, сознания своей беспомощности перед шатунами – это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонило над ним.

– Я тебя уработаю, – неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спирька.

– Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать. Учитель говорил не зло, тоже серьезно.

– Я убью тебя, – повторил Спирька, Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном – все там изрезал и обжег. Убью, знай.

– За что? – спокойно спросил учитель. – За что ты меня убьешь?.. Подлец.

Учитель ушел в дом, захлопнув за собой дверь, и задвинул железную щеколду

Спирька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома – через лаз – можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась: шпагатная веревочка накидывалась петелькой на гвоздик, и все, – чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был смолоду товарищ Спирьки и Спирька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было, но все, конечно, осталось у стариков, как раньше.

С трудом наконец Спирька поднялся, подержался за стену дома... Пошел к реке. Силы возвращались.

Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку... Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом: ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера.

Мать спала уже.

– Ты, Спирька? – спросила она сонным голосом с печки.

– Я. Спи. Мне ехать надо.

– Достань в печке-картошка жареная, в сенцах молоко... Поешь на дорогу-то.

– Ладно, я с собой возьму, – Спирька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для близира в сенях... Зашел в избу (ружье в сенях оставил). Стал на припечек, нашел впотьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши ласкал мать; она не встревожилась.

– Выпивши... Как поедешь-то? – Мать с годами больше и больше любила Спирьку,

жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью – все не как у добрых людей! – ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому.

– Ничего, поеду.

– Ну, Христос с тобой.– Мать во тьме перекрестила его.– Потихе хоть ехай-то, а то гоните как чумные.

– Все будет хорошо.– Спирька бодрился, а хотелось скорей уйти и как-нибудь забыть про мать: вот кого больно оставлять в этой жизни – мать.

Он шел темной улицей, крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его, связанного, как увидит... Спирька прибавил шагу. "Господи, дай ей силы перенести", молил. Он чуть не бежал. А под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а – в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полуоткрытые, помнились, но насладишься воспоминанием мешал вкус крови во рту и... одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот запашистый почему-то вспоминался сейчас. Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости:

Неужели конь вороной
Перекусит удила?
Неужели моя милая...

Дом весь темный, "Так, так, так, – мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. – Берем лестницу... Ставим ее, в душеньку ее... Спокойно". Он благополучно проник в кладовку, прислушался – тихо. Только сердце наколачивает в ребра. "Спокойно, Спиря!" Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька, выставив вперед свободную руку, неслышно прошел сеням, легкими касаниями по стене нашарил дверь. "Так, так..." Склонился, подцеп пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открыла с тихим приятным вздохом; п-ах. И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечьи жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом... Вот тут его давеча волок за шкуру. Пронеси, господи, – чтоб старики не проснулись, Страшно стало: что-нибудь сейчас помешает. "Ах, как он меня бил! Как бил!.. Умеет".

Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы, тоже приподнял ее снизу... Дверь скрипнула. Спирька быстро, берждал, прикрыл ее за собой... Он был в горнице! Во тьме горницы, слабо разбавленной свет уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна. Сперва уставилась на мужа, потом, от его взгляда, – на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот... Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал – очень уж понимающе неподвижно смотрел он своими темными глазами.

– Я предупреждал: я тебя уработаю, – сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. (Когда же взвел?) – Помнишь? Я тебе говорил.

Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая дите вся видна до соска.

Супруги молчали, Смотрели на Спирьку.

– Вылазь из кровати, – велел Спирька.

– Спиридон... тебе же будет расстрел, неужели...

– Я знаю. Вылазь.

– Спиридон! Неужели...

– Вылазь!

Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати – в трусах, в майке.

Спирька вскинул ружье.

Сергей Юрьевич мертвенно побледнел...

И тут вдруг закричала Ирина Ивановна, да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя – такую маленькую, умненькую, с теплыми мягкими губами – как-то уж совсем нечеловечески горько, отчаянно. И свалилась с кровати, и поползла, протягивая руки...

– Не надо! О-о-о-й! Не надо! О-о-й!.. – И хотела схватить за ружье -на коленях – хотела...

Тут Сергей Юрьевич прыгнул на Спирьку, широко расставив руки, И получил удар прикладом в грудь, и свалился.

– Родно-ой!.. Не надо! – выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирьки.– О-о-й!..

В избе, за дверью, всполошились старики, тоже заорали.

– Не надо!! – кричала женщина, и мотала головой, и все хотела обнять его ног и ползала без трусов – рубашка сбилась ей на спину, она не замечала того – в хотела поймать ноги Спирьки.

Спирька растерялся, отпинавал женщину... И как-то ясно вдруг понял: если сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить, ни залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла!.. Сколько, однако, силы в ней!

– Мать вашу!..– заругался Спирька.

Вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтоб убежать от этой мысли – о матери. От всяких мыслей, Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало – что не натворил беды. Господи, как ревела!.. А как бы она потом убивалась над покойным мужем! И опять – мать... Вот кто взвоят-то! Спирька побежал скорее. Прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было, Он приладил стволы к сердцу... Дотянулся до курков, Подумал: "Ну!.. Все?!" Пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки...

"Счас толканет", – опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо... Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней – смотреть. Кто-нибудь скажет: "Надо прикрыть, что ли". Как... Тьфу! Спирька содрогнулся. Сел. "Погоди-ка, милоч, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! – отметили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?!"

– В чем дело? – спросил вслух Спирька.– А? – Брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки. Глубоко и радостно вздохнул. И заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость: – В чем дело, Спиря? А? А-я-я-я-й! Как же так? Побили мальчика? Побили... Больно, да? Хотел себе в лобик – пук!.. Ну и фраер! – Спирька даже засмеялся и схватился за губу: губы треснули от учителя рычага, стало больно, когда засмеялся.– Что ты? Что ты? Что ты? (Разбитый рот выговаривал: "фто ты? фто ты?") Разве так можно? А-я-я-я-й! Нехорофо. Ну, побили... а ты сразу... стреляться, О-о!

Спирька лег спиной на прохладную землю, раскинул руки... Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце – Спирька приложил ладонь к груди,– здесь была бы рваная дыра от двух зарядов – больше шапки. Может, загорелся бы, и истлели бы пиджак и рубаха. Голый лежал бы... О, курва, смотреть же противно! Спирька сел, закурил, с наслаждением затянулся. Так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки: когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит: "Посений язык! Ну посений язычек!" Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды; и показалось, что они чуть звенят в дрожи – тонким-тонким звоном; и ему тоже захотелось тихо-тихо, по-щенячьи, поскулить... Он зажмурился и

почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. "Что-нибудь я сейчас сделаю!" – решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал... сам не зная куда. Только прочь с кладбища, от этих крестов и молчания. Он стал вслух, незло материть покойников:

– Лежите?.. Ну и лежите! Лежите – такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле. Покружусь,

Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там... Он хотел куда-нибудь прибежать, к кому-нибудь. Может, рассказать все... Может, посмеяться. Выпить бы! А где теперь? Как где? А Верка-буфетчица из чайной? Э-э, там же всегда есть! Там, кстати, можно и переночевать. Спирька свернул в переулок.

Вера сперва заворчала: вот – ни днем, ни ночью... Спирька зажег спичку и осветил свое лицо:

– Ты глянь, меня же было не убили, а ты канитель развела.

Вера испугалась. Спирька ихонько засмеялся, довольный.

– Да где эт тебя так?! – спросила Вера.

– В одном месте... Славно уделали?

– Господи, Спирька!.. Добьют тебя когда-нибудь. Где был-то?

– Не скажу. Секрет.

Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотней занавески, зажгла свет. Еще раз оглядела Спирьку... Потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячие ссадины на его лице.

– Ой! – притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить комнате.

Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не скрипит пол. Можно подумать... Можно, меж делом, приласкать хозяйку, погладить по руке... Все кстати, все умно. Они вздрагива с непривычки и смотрят ласково, пытливо. Милые. Добрые. Жалко их.

Вера нашла бутылку водки. Сходила даже в погребушку, принесла огурцов. Только вернулась испуганная...

– Там у тебя что, ружье, что ли? Я запнулась...

– Ружье. Пусть стоит.

– А зачем ружье-то?

– Да так.

– Спирька... ты чего это?

У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в сорок лет. Что приключилось бог его знает. Рак, наверно.

– Спирька!..

– Аиньки?

– Ты что... воюешь, что ли, бегаешь?

– Воюю, Вот – ранили.– Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было. Хорошо было.

– Вот чудной-то. Может, убил кого?

– Нет. После убью. Потом.

– Спирька, я боюсь. Может, ты натворил чего... тогда и меня... как свидетельницу. Ну ты к дьяволу!

– Все в порядке, дурочка. Чего ты испугалась? Никого я не убил. Меня чуть убили... А мне надо еще придумать, как убить.

– Пей и уходи,– рассердилась Вера.– Уходи, Спирька. Мне только этого еще не хватало.

Спирька посерьезнел.

– Успокойся. Неужели я похожий на такого – невинных подводить. Что ты? Ты же знаешь меня... Я б никогда не пришел, если б... Брось.

– С ружьем по ночам носится...

Спирька выпил стакан, закусил огурцом. Вера не стала пить.

– Не хочу.

– Почему?

– Не хочу. Напугал ты меня с этим ружьем. Кто избил-то?

– Чужие какие-то. Перестань про это. Не надо.– Вспомнился учитель... Бледный, в трусах. Спирька передернул плечами, прогоняя неприятную, злую мысль. Радости поубавилось.– Ладно, ладно, ладно,– торопливо сказал он. Не надо про это, – И еще налил полстакана, чтоб не успеть подумать еще про учительницу, чтоб не вспомнить ее. Но она вспомнилась – маленькая, полуголенькая, насмерть перепуганная... Все-таки вспомнилась.

Утром Спирька вскочил рано. Оставил ружье у Веры.

– Вечером зайду, возьму.

– А куда сам?

– На работу, куда. Это... не болтай про ружье-то.

– Ну, пошла всем рассказывать: был ночью Спирька с ружьем...

– Умница, Избили меня какие-то нездешние... На тракте. Я хотел догнать с ружьем, не догнал.

Вера недоверчиво смотрела на Спирьку; впрочем, Спирька и не старался особенного казаться правдивым.

– Выпьешь?

– Нет. Будь здорова.

Спирька пошел к учителям. Шел кривыми переулками, по задворкам – чтоб меньше встретить людей. Все же двух-трех встретил.

Встретил бригадира колхозного, Илью Китайцева. Илья ехидно, понимающе заулыбался издали:

– Ого! Ноченька была!

Спирька тоже широко улыбнулся, преодолевая боль, которая прокалывала иглами все лицо. Сказал:

– Была, Илюха! Была ноченька. Дай закурить.

– Чего эт?

– Так... Упал. – Стыд, позор... От стыда даже язык онемел, кончик. Тонкая Илюхина ухмылочка резала лезвием по сердцу.– Закурим, что ли?

– Закурим, закурим. Здорово упал-то... Высоко, наверно. Как же эт ты?

– Ну, Илюха,.. бывает-падают. Я вот те счас залепеню, ты тоже упаешь. Что, нет, думаешь?

Илюха перестал улыбаться.

– Чего ты?

– А чего ты губы-то свои распустил? Сразу, курва, ехидничать! Не можешь без ехидства слова сказать, Дай дороги!

Нет, в деревне пока не жить. От одного позора на край света сбежишь. Будут вот так улыбаться губошлепы разные... Ах, учитель, учитель... Вот ведь как научился руками работать! Славно, славно. Хорошо бы тебя ногами к потолку подвесить... Нет, на твоих же глазах жену твою драгоценную... исцеловать, всю, до болячки, чтоб орала. Жестокие чувства гнали Спирьку вперед, точно кто в спину подталкивал. Он не замечал, что опять он торопится. Но он знал, что сейчас не бросится на учителя, нет, Это будет потом... спокойно. Страшно. Это потом.

Вспоминая позже этот утренний разговор с учителями, Спирька не испытывал удовлетворения.

Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул... Стал на пороге. Учитель был уже одет, побрит... как раз с электрической бритвой он и стоял перед зеркалом. Она жужжала около его лица. Учительница, припухшая со сна и от вчерашнего крика, миленькая, беленькая, готовила завтрак. Она тоже замерла с тарелкой в руках.

– Одно предупреждение, – деловито заговорил Спирька. – Что у нас тут случилось – никому ни звука. Старикам сами накажите. Я на время исчезаю с горизонта, Сергей Юрьевич, я тебя, извини, все же уработаю.

– Как это... уработаю? – глупо переспросила Ирина Ивановна,

– Я получил аванс... я его должен отработать. – Не знал Спирька, когда произойдет, но придет он сюда однажды – спокойный, красивый, нарядный – скажет: "Я пришел платить". И что уж это будет за ситуация такая и кто такой будет Спирька, только учитель растеряется, станет жалким. И станет просить: "Спиридон, я был глуп, я прошу прощения..." – "Ну, ну, – скажет Спирька вежливо, – не надо сразу в штаны класть. Тут же женщина... жена ваша, она должна уважать вас"

– Какой аванс? – все никак не могла понять Ирина Ивановна. – У кого взяли?

– Он мне будет мстить. Отомстит, – пояснил учитель, – Хорошо, Спиридон, я принял к сведению. – Учитель взял себя в руки, – Мы никому ничего не расскажем.

– Вот так... Будьте здоровы пока. – Спирька вышел.

"А куда это я исчезаю-то?" – подумал он. Даже остановился. Только теперь четко дошло вдруг до сознания, что он, оказывается, решил уехать.

"А куда, куда?" Но оказалось, что он и это знает: в город Б-ск, что в полсотне ки метров отсюда. Когда он все это решил, он не знал, но в нем это уже жило. И только прирожденная осторожность требовала, чтобы решение еще раз проверилось.

Минуя дом, Спирька пошел в гараж. Там еще пережил веселые глаза шоферов. Злился в душе, нервничал, Взял путевку в рейс подальше и скоро уехал.

Дорогой немного успокоился. Стал думать, Хотел опять породить в своем воображении сладостную картину, какая озарила его, когда он разговаривал утром с учителем: придет он к нему – вежливый, нарядный... Но желанная картина что-то не возникала. Спирька в досаде хотел распалить себя, помочь; ну, ну – придет... "Здравствуйте!" Нет... Не выходит. Противно думать обо всем этом. Его вдруг поразило, и даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы учителя. Все эти видения; учитель висит головой вниз, или: учитель, бледный, жалкий ползает у него в ногах, – это так хотелось Спирьке, чтоб они, эти картины, стали желанными, сладостными. Тогда бы можно, наверно, и успокоиться, и когда-нибудь так и сделать: повесить учителя головой вниз. Ведь надо же желать чего-нибудь лютому врагу! Надо же хоть мысленно видеть его униженным, раздавленным. Надо! Но Спирька даже заерзал на сиденье; он понял, что не находит в себе зла к учителю. Ее бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никогда никому не желал зла. Но он так не подумал, а отчаянно сопротивлялся, вызывал в душе злобу.

"Ну, фраер!.. тряпка, что ж ты? Тебя метелят, как тварь подзаборную, а ты... Ну! Ведь как били-то! Смеясь и играя... Возили. Топтали. Что же ты? Ведь над тобой смеяться будут. И первый будет смеяться учитель. Что же ты? Ведь ни одна же баба к себе не допустит такую слякоть". Злости не было.

А как же теперь? На этот вопрос Спирька не знал, как ответить. И потом, в течет дня, он еще пытался понять: "Как теперь?" И не мог.

Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все.

Спирька так и сделал: свернул с дороги в лес, въехал на полянку, заглушил мотор, вылез, огляделся и сел на пенек.

"Вот где стреляться-то, – вдруг подумал он спокойно. – А то-на кладбище припорол. Здесь хоть красиво",

Красиво было, правда. Только Спирька специально не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю понял ее... И сидел. Склонился, сорвал травинку, закусил ее в зубах и стал

слушать птиц. Маленькие хозяева лесные посвистывали, попискивали, чирикали где-то в кустах. Пара красавцев дятлов, жуково-черных, с белыми фартучками на груди, вылетели из чащи, облюбовали молодую сосенку, побегали по ней вверх-вниз, помелькали красными хохолками, постучали, ничего не нашли, снялись и низким летом опять скрылись в кустах.

"Тоже – парой летают", – подумал Спирька. Еще он подумал, что люди завидуют птицам... Говорят: "Как птаха небесная". Позавидуешь. Еще Спирька подумал, что, наверно, учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учительнице, наверно, они лежат под окном, завяли... Красивые такие цветочки, красные. Спирька усмехнулся, Пижон Спиря... Здесь тоже есть цветочки. Вон они: синенькие, беленькие, желтенькие... Вон саранка цветет, вон медуница... А вон пучка белые шапки подняла вверх. Спирька любил запах пучки. Встал, сорвал тугую горсть мелких белых цветочков, собранных в плотный, большой, как блюдце, круг. Сел опять на пенек, растер в ладонях цветки, погрузил лицо в ладони и стал жадно вдыхать прохладный, сыровато-терпкий, болотный запах небогатого, неяркого местного цветка. Закрыв ладонями лицо и так остался сидеть. Долго сидел неподвижно. Может, думал, Может, плакал...

...Спирьку нашли через три дня в лесу, на веселой полянке, Он лежал, уткнувшись лицом в землю, вцепившись руками в траву. Ружье лежало рядом. Никак не могли понять, как же он стрелял? Попал в сердце, а лежал лицом вниз... Из-под себя как-то изловчился.

Привезли, схоронили.

Народу было много. Многие плакали...

Упорный

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель – невозможен. По тем-то и тем-то причинам – потому хотя бы, что существует трение. Моня... Тут, между прочим, надо объяснить, почему – Моня. Его звали – Митька, Дмитрий, но бабка звала его – Митрий, а ласково – Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню – так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что вечный двигатель-невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех "вечных двигателей", какие-в разные времена-предлагались... И задумался. Что трение там, законы механики – он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого "вечного двигателя", какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: "Да ладно, будут тут мне..." И теперь он тоже подумал: "Да ну!.. Что значит – невозможен?"

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было, если ему влетела в лоб какая-то идея, – то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому, – то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И

своего добивался. Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал – ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор – все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно. Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы – как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колесо жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к плоскости колеса, желоб – так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька). Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать, ну, не толкать – давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось закрутится – закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника: пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромный простор своей родины, России, как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине – идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в такой ходьбе – ничего больше, идет, и все, – почудилось Моне некое собственное величие. Вот так пройдет человек по земле – без крика, без возгласов, – поглядит на все тут – и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы – хотелось, Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал – там все ясно, а лежал поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину, – скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, просмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах – просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать – кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб – как если бы они думали. Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, ручной насос. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению – к ручной помывке – умываться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая крепкая старуха, Мотьку своего любила,

но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время – умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжала вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко – хватит пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотья был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что – есть она и вроде ее нет.

– Чего эт ты седня такой? – спросила бабка, когда сидели завтракали.

– Какой? – спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

– Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал... И сказал заковыристо:

– Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле,

– Подь ты к лешему! – Старуха усмехнулась, помолчала и спросила: – Ну, и что бы ты с имя стал делать?

– Что?.. А ты что?

– Я тебя спрашиваю.

– Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

– Мне ничего не надо. Может, дом бы перебраться...

– Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать – гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

– Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

– Начинается! – недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью – нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру.– Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась:

– А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет матушка...

– Ну, и... придет-значит, придет: чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотья не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

– Дак чего приснилось-то?

– Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

– Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет-не возрадуется.

– Ничего! – беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу.– Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое "фэ"!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.

– Здравствуй! – сказал Моня.

– Здравствуй! – не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на "ты".

"Переживешь, – подумал Моня. – Молодой еще".

– Зашел сказать свое "фэ", – продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

– Что еще за "фэ"?

– Как ученые думают насчет вечного двигателя? – сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу. – А?

– Что за вечный двигатель?

– Ну этот – перпетуум мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

– Ну? И что?

– Как сейчас насчет этого думают?

– Да кто думает-то? – стал раздражаться инженер.

– Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

– Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

– Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу:

– Сняли.

– Не рано? – не давал ему уйти от разговора Моня.

– Что "не рано"? – оглянулся опять инженер.

– Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Моню:

– Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

– Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее взгляделся в Моню... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку – тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

– Поздравляю.

Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель – невозможен. Этак и выдумашь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми – это тяжело, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его – чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

– А что дальше? – спросил Моня.

– В каком смысле?

– Ну, ты поздравил... А дальше?

– Дальше – пускай его по инстанции, добивайся... Ты его сделал уже? Или только придумал?

– Придумал.

– Ну вот... – Инженер усмехнулся, качнул головой. – Вот и двигай теперь... Пиши что ли, я не знаю.

Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

– Ну, а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно.

– Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

– Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

– Полтора года.

– Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой

знаком. Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

– Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу – бредятина! – изумился Моня, чувствуя, что все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

– И узнавать не хочу.

– Почему?

– Потому что – это глупость, И ты должен сам понимать, что глупость.

– Ну, а вдруг не глупость?

– Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

– Спасибо за совет.– Моня встал.– Вообще за добрые слова...

– Ну вот...– сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно.– И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

– Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

– Ну, а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! – воскликнул инженер.– Почти девять лет учился, и – на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

– Да вот так все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

– Да не махнули рукой, а доказали давно: не-воз-можен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? – Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал: – Что же ты восемь с половиной лет делал?

– Смолил и к стенке становил,– тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру.– Что ты как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

– Вот видишь...– чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил.– Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить. – Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл. Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел напрямик домой – к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну, и что? Груз-вот он-давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то! А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: "Что же ты восемь с половиной лет делал?" Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну, и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но – вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны – подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал что делать. Делать что-то надо было – иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дому, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, впору бегом бежать. Малость Моня и подбежал – в переулке, где людей не было,

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

– Здравствуйте, – сказал Моня. – А муж уехал?

– Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

– А вы же ведь учительница? – спросил он.

Хозяйка удивилась:

– Да, А что?

– По какому?

– По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку – что она еще не привела себя в порядок, прошел к столу.

– Ну-ка, гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда. Молодая женщина какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

– Что? – спросил Моня.

– А в чем дело-то? – тоже спросила учительница, подходя к столу.

– Смотрите, – стал объяснять Моня по чертежу, – вот это такой желобок, из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он – вот так вот – наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двинет его?

– Надавит...

– Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

– Это что же, вечный двигатель, что ли? – удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

– Что это? – спросила она.

– Да вы же сами сказали!

– Вечный двигатель?

– Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

– А? – спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

– Не будет колесо вращаться, – сказала учительница.

– Почему?

– Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

– Ну, ребята!.. – заговорил он. – Я не понимаю: или вы заучились, или... Почему не будет-то? – Моня остановился, глядя в упор на женщину. Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась,

– А вам нужно, чтобы оно вращалось? – спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил-все свое:

– Почему оно не будет вращаться?

– А как вам муж объяснил?

– Муж... никак. Муж взялся стыдить меня, – И опять Моня кинулся к чертежу: – Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

– Давит.

– Давит, Стержень от этого давления...

– Знаете что, – прервала Моню учительница, – чего мы гадаем тут: это нам легко

объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

– Знаю.

– Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

– Только подождите меня, ладно? – попросила учительница. – Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась:

– Мне одеться нужно...

– А-а, – догадался Моня. – Ну конечно. Я на крыльце подожду. – Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: – Вот дела-то! Да?

– Я сейчас, – сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

– Вот!.. – сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом. – Видите, как все продумано! А вы говорите... – И повернулся к Моне, И, потихоньку тоже возбуждаясь, стал объяснять:

– Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал "уперу") ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень – вертикально. Вот... – Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его "прикрепил" стержень. – Вот сюда мы его присобачим... Так? – Гекман был очень доволен, Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину... Во-от. – Учитель и пружину изобразил. – А другим концом...

– Я уже такой двигатель видел в книге, – остановил Моня учителя. – Так не будет крутиться.

– Ага! – воскликнул счастливый учитель. – А почему?

– Пружина одинаково давит в обои концы...

– Это ясно?! Взяти ваш вариант: груз. Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз – это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит и на стержень и на желоб. Ни на что – чуть-чуть меньше, ни на что – чуть-чуть больше. Колесо стоит,

Это показалось Моне чудовищным.

– Да как же?! – вскинулся он, – Вы что? По желобу он только скользит, желоб можно еще круче поставить, – а на стержень падает. И это – одинаково?! – Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость,

– Да! – тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики. – Одинаково! Эта неравномерность – это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

– Да горите вы синим огнем с вашим равенством! – горько сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор, Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Дodelывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо.

Колесо покрутилось – покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу – с изумлением, враждебно – смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же уравновесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал... Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

Пришел на речку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то беспокоилась, бормотала сама с собой – и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текущая спина, а здесь, у берега, она все шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо – шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе еще не изобретал. Этого хватит месяца на два – говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет – пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей – трех примерно и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот – медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

– Доброе утро! – сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

– Здорово! – откликнулся инженер.

– А ведь крутится! – сказал Моня. – Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое время смотрел на Моню – не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

– Двигатель, что ли?

– Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь крутилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И несколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

– Правда, что ли?

– Пойдем – поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

– Ну, это... фокус какой-нибудь, – все же не верил он. – Подстроил там чего-нибудь?

– Какой фокус! В сарае... на полу: крутится и крутится.

– От чего колесо-то?

– От велика.

Инженер приостановился:

– Ну, правильно: там хороший подшипник – оно и крутится.

– Да, – сказал Моня, – но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

– И всю ночь крутится? – не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

– Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его, и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Монею, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

– Приготовились! – сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай – крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

– Ну-у, – сказал инженер. – Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал.

Не смешно, парень.

– Ну, извини, – сказал Моня, довольный. – Пойдем – у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся:

– Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату...

Прошли уже было, но бабка услышала.

– Мотья, где был-то всю ночь? – спросила она.

– Спи, спи, – сказал Моня. – Все в порядке.

Они вошли в горницу.

– Садись, – пригласил Моня. – Я сейчас организую...

– Да ты... ничего не надо организовывать! – сказал инженер шепотом. Брось. Чего с утра организовывать?

– Ну ладно, – согласился Моня. – Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну, ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

– Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился? А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный – как если бы у него уже было трое детей и он смотрел, как они развиваются.

– Весь день вчера угробил... Дело не в этом, – заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким, искренним любопытством, – дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

– Не должно, – сказал инженер. – В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек – улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него, по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо – не до этого стало.

– Учиться надо, дружок, – посоветовал инженер, – тогда все будет понятно.

– Да при чем тут – учиться, учиться, – недовольно сказал Моня. – Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

– Бывают! Но все же неученых их больше. Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

– Давай еще по рюмахе?

– Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала, смотрела на него с печки.

– Шагай вольнее, – сказала она, – все равно не сплю.

– Здравствуй, бабушка! – поприветствовал ее инженер.

– Здорово, милоч. Чего вы-то не спите? Гляди-ка, молодые, а как старики... Вам спать

да спать надо.

- А в старости-то что будем делать? – сказал инженер весело.
- В старости тоже не поспишь.
- Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.
- Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным – всходило солнце. Село пробудилось; хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит – недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. люди, милые люди... Здравствуйте!

Вянет, пропадает

Идет! – крикнул Славка. – Гусь-Хрустальный идет!

– Чего орешь-то? – сердито сказала мать. – Не можешь никак потише-то?.. Отойди оттудова, не торчи.

Славка отошел от окна.

- Играть, что ли? – спросил он,
- Играй. Какую-нибудь... поновей.
- Какую? Может, марш?
- Вот какую-то недавно учил!..
- Я сене одолел еще. Давай "Вянет, пропадает"?
- Играй. Она грустная?
- Помоги-ка снять. Не особенно грустная, но за душу возьмет.

Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл: "Вянет, пропадает".

Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал:

- Здравствуйте.
- Здравствуйте, Владимир Николаич, – приветливо откликнулась мать.

Славка перестал было играть, чтоб поздороваться, но вспомнил материн наказ – играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть.

– Дождь, Владимир Николаич?

– Сеет. Пора уж ему и сеять. – Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит, подумает – переставит. – Пора... Сегодня у нас... што? Двадцать седьмое? Через три дня октябрь месяц. Пойдет четвертый квартал.

– Да, – вздохнула мать.

Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя: краснела, суетилась, все хотела, например, чтоб дядя Володя выпил "последнюю" рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что "последнюю-то как раз и не надо пить – она-то и губит людей".

– Все играешь, Славка? – спросил дядя Володя.

– Играет – встряла мать. – Приходит из школы и начинает – надоело уж... В ушах звенит.

Это была несусветная ложь, Славка изумлялся про себя.

– Хорошее дело, – сказал дядя Володя. – В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию: все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается...

– Я говорила с ихним учителем-то: шибко, говорит, способный.

Когда говорила?! О боже милостивый!.. Что с ней?

- Талант, говорит.
- Надо, надо. Молодец, Славка.
- Садитесь, Владимир Николаич,
Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу.
- С талантом люди крепко живут.
- Дал бы уж, господи...
- И учиться, конечно, надо – само собой.
- Вот учиться-то... – Мать строго посмотрела на Славку. – Лень-матушка! Вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю: сама иной раз с им сяду; "Учи! Тебе надото, не мне". Ну!.. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мужчина в доме... Нас-то много они слушают!
- Отец-то не заходит, Славка?
- А чего ему тут делать? – отвечала мать. – Алименты свои платит – и довольный. А тут рости, как знаешь...
- Алименты – это удовольствие ниже среднего, – заметил дядя Володя. Двадцать пять?
- Двадцать пять. А зарабатывает-то не шибко... И те пропивает.
- Стараться надо, Славка. Матери одной трудно.
- Понимал бы он...
- Ты пришел из школы; сразу – раз – за уроки. Уроки приготовил – поиграл на баяне. На баяне поиграл – пошел погулял. Мать вздохнула.
- Славка играл "Вянет, пропадает".
- Дядя Володя выпил перцовки.
- Стремиться надо, Славка,
- Уж и то говорю ему: "Стремись, Славка..."
- Говорить мало, – заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки.
- Как же воспитывать-то?
- Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот,
- Ху-у... Все: пропустили по поводу воскресенья, и будет. – Дядя Володя закурил. – Я ведь пил, крепко пил...
- Вы уж рассказывали. Счастливый человек – бросили... Взяли себя в руки.
- Бывало, утром: на работу идти, а от тебя, как от циклона, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую – не бриться, ничего, – откроешь рот: он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился, Хочешь на счетах три положить, кладешь – пять.
- Гляди-ко!
- В голове – дымовая завеса, – обстоятельно рассказывал дядя Володя. А у меня еще стол наспроть окна стоял, в одиннадцать часов солнце начинает в лицо бить – пот градом!.. И мысли комичные возникают: в ведомости, допустим: "Такому-то на руки семьсот рублей". По-старому. А ты думаешь: "Это ж сколько поллитр выйдет?" Х-хе...
- Гляди-ко, до чего можно дойти!
- Дальше идут. У меня приятель был: тот по ночам все шанец искал,
- Какой шанец?
- Шанс. Он его называл – шанец. Один раз искал, искал – показалось, кто-то с улицы зовет, шагнул с балкона, и все, не вернулся.
- Разбился?!
- Ну, с девятого этажа – шутка в деле! Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: "Эй!"
- Сердешный... – вздохнула мать.
- Дядя Володя посмотрел на Славку...
- Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакуум, как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакуум заполнить,
- Славка посмотрел на мать. Та улыбнулась:

– Ну отдохни, сынок.

Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна... Мать опять взгромодила баян на шкаф, накрыла салфеткой.

Дядя Володя расставлял на доске фигуры.

– В шахматы тоже учишь, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию: кто за бутылку, кто разные фигли-мигли, а ты раз – за шахматы: "Желаете?" К тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?

– По родной речи? Трояк.

– Плохо. Литературу надо на зубок знать. Вот я хожу пешком и говорю: "Е-два, Е-четыре", как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну давай.

Славка походил пешкой.

– А зачем говорят-то: "Е-два, Е-четыре"? – спросила мать, наблюдая за игрой.

– А шутят, – пояснил дядя Володя. – Шутят так. А люди уж понимают: "Этого голой рукой не возьмешь". У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.

Славка походил пешкой.

– У нас дядя Иван тоже шутит, – сказал он. – Нас вывели на физкультуру, а он говорит: "Вот вам лопаты – тренируйтесь". – Славка засмеялся.

– Кто это?

– Он завхозом у нас.

– А-а... Этим шутникам лишь бы на троих сообразить, – недовольно заметил дядя Володя.

Мать и Славка промолчали.

– Не перевариваю этих соображал, – продолжал дядя Володя. – Живут – небо копят.

– А вот пили-то, – поинтересовалась мать, – жена-то как же?

– Жена-то? – Дядя Володя задумался над доской: Славка неожиданно сделал каверзный ход. – Реагировала-то?

– Да. Реагировала-то.

– Отрицательно, как еще. Из-за этого и разошлись, можно сказать. Вот так, Славка! – Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен. Из-за этого и горшок об горшок у нас и получился.

– Как это? – не понял Славка,

– Горшок об горшок-то? – Дядя Володя снисходительно улыбнулся. – Горшок об горшок – и кто дальше.

Мать засмеялась.

– Еще рюмочку, Владимир Николаич?

– Нет, – твердо сказал дядя Володя. – Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения и будет. Раньше не отказался ба... Ох, пил!.. Спомнить страшно.

– Не думаете сходить-то? – спросила мать.

– Нет, – твердо сказал дядя Володя, – Дело принципа: я первый на мировую не пойду.

Славка опять сделал удачный ход.

– Ну, Славка!.. – изумился дядя Володя.

Мать незаметно дернула Славку за штанину. Славка протестующе дрыгнул ногой: он тоже вошел в азарт.

– Так, Славка... – Дядя Володя думал, сморщившись. – Так... А мы вот так!

Теперь Славка задумался.

– Детей-то проведуете? – расспрашивала мать.

– Проведу, – Дядя Володя закурил. – Дети есть дети, Я детей люблю.

– Жалеет счас небось?

– Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У меня счас без вычетов на руки выходит сто двадцать. И все целенькие. Площадь – тридцать восемь метров, обстановка... Сервант недавно купил за девяносто шесть рублей – любо глядеть. Домой приходишь – сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь... Хочу еще софу

купить.

– Ходите,– сказал Славка.

Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заалевший нос.

– Так, Славка... Ты как? А мы-так! Шахович. Софы есть чешские... Раздвижные – превосходные. Отпускные получу, обязательно возьму. И шкуру медвежью закажу...

– Сколько же шкура станет?

– Шкура? Рублей двадцать пять. У меня племянник часто в командировку на восток ездит, закажу ему, привезет.

– А волчья хуже? – спросил Славка.

– Волчья небось твердая,– сказала мать.

– Волчья вообще не идет для этого дела. Из волчьих дохи шьют. Мат, Славка. Дождик перестал; за окном прояснилось. Воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни.

Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.

– Завтра хороший день будет,– сказал дядя Володя.– Вот где солнышко село, небо зеленоватое: значит, хороший день будет.

– Зима скоро.– вздохнула мать.

– Это уж как положено, У вас батареи не затопили еще?

– Нет. Пора бы уж.

– С пятнадцатого затопят. Ну пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю.

Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру – что-то другое.

Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога...

– Ну, до свиданья.

– До свиданья...

– Славка, а кубинский марш не умеешь?

– Нет,– сказал Славка.– Не проходили еще.

– Научись, сильная вещь. На вечера будут приглашать... Ну, до свиданья.

– До свиданья.

Дядя Володя вышел. Через две минуты он шел под окнами – высокий, сутулый, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед,

– Руль, – с досадой сказала мать, глядя в окно. – Чего ходит?..

– Тоска,– сказал Славка.– Тоже ж один кукует.

Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.

– Чего ходить тогда? – еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку.– Нечего и ходить тогда. Правда что Гусь-Хрустальный.

Верую!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.

– Опять!.. Навалилась.

– О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди,– тоска,– издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

– Давай матерись, Полайся – она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя – не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

– Не поймешь ведь.

– Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

– Вот у тебя все есть – руки, ноги... и другие органы. Какого размера – это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед... Так?

– Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.

– Но у человека есть также – душа! Вот она, здесь, – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит.

– Больше нигде не болит?

– Слушай! – взвизгивал Максим. – Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! – вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса – Стало быть, все это – пустые слова. Чего и злить себя? – Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить – все равно, что об стенку головой биться.

– Ой, трепло!

– Сгинь с глаз!

– А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

– А что, по-твоему, душа-то – пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит, А я злюсь поэтому. Нервничаю.

– Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходят. А этот – нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом – люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет – мороз. Люди-по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть – выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется – вот где сволочь – маята! И пластом, недвижно лежать – тоже не хочется. И водку пить не хочется – не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел – оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это – гнусное предательство, что он – "научный Власов", просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

– Зачем же чертежи-то передал? – допытывался старшина. – И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это – "хуже Власова". И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

"Ну и что? – сердито думал Максим. – Так же было сто лет назад. Что нового-то? И

всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих – свои такие же будут. А у тех – свои... И все? А зачем?"

Совсем тошно стало Максиму... Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот – поп. Самый натуральный поп – с волосьями. У попа что-то такое было с легкими – болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях – клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

– Мне столько не надо. Мне надо три хороших – жирных.

– Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам – каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... а я их тебе приволоку двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

– Что? – спросил он.

– Душа болит, – сказал Максим. – Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

– Спирту хочешь?

– Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой:

– Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа – ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому – не кадилом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благодный, не постный – не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие – живые, трепетные нити – распутывать. Однако – Максим сразу это почувствовал – с попом очень интересно.

– Душа болит?

– Болит.

– Так. – Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком. Начнем подъезжать издали. Слушай внимательно, не перебивай. – Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:

– Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло – есть добро, нет зла – нет добра, Понимаешь меня?

– Ну, ну.

– Не понуждай, ибо не запрөг еще. – Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот – странно, далеко и безответственно. – Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея – борется со злом.

Илюха заснул за столом.

– Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву сигарку и с интересом продолжал слушать.

– Чего с легкими-то? – поинтересовался для вежливости.

– Болят, – кратко и неохотно пояснил поп.

– Барсучатина-то помогает?

– Помогает. Идем дальше, сын мой занюханый...

– Ты что? – удивился Максим.

– Я просил не перебивать меня.

– Я насчет легких спросил...

– Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе – зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда – зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

– В коммунизм, что ли?

– Что коммунизм?

– В коммунизм веришь?

– Мне не положено. Опять перебиваешь!

– Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

– Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле, Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта – победит. Иначе – для чего все? А? Где такая сила? – Поп вопросительно посмотрел на Максима. – Есть она?

Максим пожал плечами:

– Не знаю.

– Я тоже не знаю.

– Вот те раз!..

– Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... – Поп выпил спирт, промакнул скатертью губы. – Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но – стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся – мы обречены.

– Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

– Валяй.

– Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

– Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

– Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

– Я сказал – нет. Теперь я скажу – да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! – Поп выпил. Теперь я скажу, что бог – есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это – суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза – делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

– Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад. –

Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел.— Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну – зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких – "подставь правую". Дам в рыло, и баста.

– А если у него кулак здоровей?

– Значит, такая моя доля – за ним бежать.

– А куда бежать-то?

– На кудыкину гору. Какая тебе разница – куда? Все в одну сторону – добрые и злые.

– Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь,— сказал Максим.

– Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая – скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Вьелся горячим злым взглядом в попа.

– За что же мне доля такая несчастная?

– Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

– Попяра!.. А если я сейчас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо – при больных-то легких! – расхохотался.

– Видишь! – показал он свою ручищу. – Надежная: произойдет естественный отбор.

– А я ружье принесу.

– А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

– Ну – ножом пырну. Я могу.

– Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

– Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

– Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

– Ты самолетом летал? – спросил поп.

– Летал. Много раз.

– А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я садился в него, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо; Жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку – молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

– А у вас в церкви... как заведут...

– У нас не песня, у нас – стон. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

– Люблю.

– Споем?

– Я не умею.

– Слегка поддерживай, только не мешай.

– И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда защемило в груди. На словах "ах, и сам я нынче что-то стал нестойкий" поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.

– Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

– Отец! Отец... Слушай сюда!

– Не хочу! – плакал поп.

– Слушай сюда, колода!

– Не хочу! Ты слаб в коленках...

– Я таких, как ты, обставляю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.

– Молись! – Поп встал.— Повторяй за мной...

– Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой.

– Повторяй за мной: верую!

– Верую! – сказал Максим.

– Громче! Торжественно: ве-рую! Вместе: ве-ру-ю-у!

– Ве-ру-ю-у! – заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:

– В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..

Вместе заорали:

– Ве-ру-ю-у!

– Верую, что скоро все соберется в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!

– Верую-у!

– В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мягкость телесную-у!..

...Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху вприсядку и орал и нахлопывал себя по бокам и по груди:

– Эх, верую, верую!

Ту-ды, ту-ды, ту-ды – раз!

Верую, верую!

М-па, м-па, м-па – два!

Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:

– У-тя, у-тя, у-тя-три!

Верую, верую!

Е-тя, етя – все четыре!

– За мной! – восклицал поп.

– Верую! Верую!

Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицы гнулись.

– Эх, верую, верую!

– Ты-на, ты-на, ты-на – пять!

Все оглобельки – на ять!

Верую! Верую!

А где шесть, там и шерсть!

Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время

от времени тоненько кричал: "Их-ха! Их-ха!" Он не знал слов.

Рубаха на попе-на спине-взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопаёт. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее – он так просто не уйдет.

– За мной! – опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задребезжали тарелки и стаканы.

– Эх, верую! Верую!..

Волки!

В воскресенье, рано утром, к Ивану Дегтяреву явился тесть, Наум Кречетов, нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван не любил тестя;

Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана.

– Спишь? – живо заговорил Наум. – Эхха!.. Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспаться. Здравствуйте.

– Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь.

– Зря. Вставай-ка... Поедем съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил две подводы. Конечно, не за "здорово живешь", но черт с ним – дров надо.

Иван полежал, подумал... И стал одеваться.

– Вот ведь почему молодежь в город уходит? – заговорил он. – Да потому, что там отработал норму – и иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь как проклятый: ни дня, ни ночи. Ни воскресенья.

– Што же, без дров сидеть? – спросила Нюра, жена Ивана. – Ему же коня достали, и он же еще недовольный.

– Я слышал: в городе тоже работать надо, – заметил тесть.

– Надо, Я бы сейчас с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи: выложился раз, зато потом без горя – и вода и отопление.

– С одной стороны, конечно, хорошо – водопровод, с другой – беда: ты б тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали.

– Завтракать будешь? – спросила жена.

Иван отказался – не хотелось.

– С похмелья? – любопытствовал Наум,

– Так точно, ваше благородие!

– Да-а... Вот так. А ты говоришь – водопровод... Ну, поехали.

День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой.

Ехать надо было далеко, верст двадцать: ближе рубить не разрешалось, Наум ехал впереди и все возмущался:

– Черт те чего!.. Из лесу в лес – за дровами.

Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала.

Выехали на просеку, спустились в открытую логовину, стали подыматься в гору. Там, на горе, снова синей стеной вставал лес.

Почти выехали в гору... И тут увидели, недалеко от дороги, – пять штук. Вышли из леса, стоят, ждут. Волки.

Наум остановил коня, негромко, нараспев заматерился:

– Твою в душеньку ма-ать... Голубочки сизые. Выставились.

Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задержал

вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами – не мог перешагнуть оглобину.

Волки двинулись с горы, Наум уже развернулся, крикнул:

– Ну, што ты?!

Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли... Упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах.

Наум был уже далеко.

– Грабю-ут! – заполошно орал он, нахлестывая коня.

Волки серыми комками податливо катились с горы, наперез подводам.

– Грабю-ут! – орал Наум.

"Что он, с ума сходит? – невольно подумал Иван. – Кто кого грабит?" Он испугался, но как-то странно: был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали легко нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков.

Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой... Уже только метров пятнадцать – двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. Сейчас понял, что волк – это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить: страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. Этого, с паленой мордой, могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал... Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост.

Иван оглядел сани – ничего, ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком да бич в руке.

– Грабю-ут! – кричал Наум.

Ивана охватил настоящий страх.

Передний, очевидно вожак, стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах... Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнув зубами, прыгнул в сторону, сбился с маха... Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого... И снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван привстал, ждал момента... Хотел еще раз достать вожака. Но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани-с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился... "Конец. Смерть". Глянул вперед.

Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся.

– Грабю-ут!

– Придержи малость, отец!.. Дай топор! Мы отобьемся!..

– Грабю-ут!

– Придержи, мы отобьемся!.. Придержи малость, гад такой!

– Кидай им чево-нибудь! – крикнул Наум.

Вожак поравнялся с лошадьёю и выбирал момент, чтоб прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко: малейшая задержка, и они с ходу влетят в сани – и конец. Иван кинул клочок сена; волки не обратили на это внимания.

– Отец, сука, придержи, кинь топор!

Наум обернулся:

– Ванька!.. Гляди, кину!..

– Ты придержи!

– Гляди, кидай! – Наум бросил на обочину дороги топор.

Иван примерился... Прыгнул из саней, схватил топор... Прыгая, он пугнул трех задних волков, они отскочили в сторону, осадил бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб... Сани перевернулись: оглобли свернули хомут, он захлестнул коню

горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль. Три отставших волка бросились тоже к жертве. В следующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали, Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека...

Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорей на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на жадное, торопливое пиршество. Вожак еще раз глянул на него... И взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал что было силы и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором нимало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал, Взмахнул топором и шагнул к нему... Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился,

– Ваша взяла,– сказал он.– Жрите, сволочи.– И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть. Но не выдержал, глянул... И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге.

– Ну погоди!.. Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились бы и конь был бы целый. Шкура.

Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался:

– Живой? Слава те господи! – На совести у него все-таки было нелегко.

– Живой! – откликнулся Иван.– А ты тоже живой?

Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул в сани.

– Ну, что они там?..

– Поклон тебе передают. Шкура!..

– Чего ты? Лаешься-то?..

– Счас я тебя бить буду, а не лаяться.– Иван подходил к саням.

Наум стегнул лошадь.

– Стой! – крикнул Иван и побежал за санями.– Стой, паразит!

Наум опять нахлестывал коня... Началась другая гонка: человек догонял человека.

– Стой, тебе говорят! – крикнул Иван.

– Заполошный! – кричал в ответ Наум.– Чего ты взелся-то? С ума, что ли, спятил? Я-то при чем здесь?

– Ни при чем?! Мы бы отбились, а ты предал!..

– Да где же отбились?! Где отбились-то, ты што!

– Предал, змей! Я тебя проучу малость. Не уйдешь ты от меня, остановись лучше, Одного отметелю – не так будет позорно. А то при людях отлуплю, И расскажу все... Остановись лучше!

– Сейчас – остановился, держи карман! – Наум нахлестывал коня.– Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову!

– Послушай доброго совета – остановись! – Иван стал выдыхаться.– Тебе же лучше: отметелю и никому не скажу.

– Тебя, дьявола, голого почесть в родню приняли, и ты же на меня с топором! Стыд-то есть или нету?

– Вот отметелю, потом про стыд поговорим. Остановись! – Иван бежал медленно, уже далеко отстал, И наконец вовсе бросил догонять. Пошел шагом.

– Найду, никуда не денешься! – крикнул он напоследок тестю.

Дома у себя Иван никого не застал: на двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом. Поискал в шкафу... Нашел недопитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю. В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.

– Дома,– удовлетворенно сказал Иван.– Счас будем уроки учить.

Толкнулся в дверь – не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу...

- Его ждали: в избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался:
- Ну что, Иван?
 - Та-ак... Сбежал уже? – спросил Иван, глядя на тестя.
 - Сбежал, сбежал, Налил шары-то, успел?
 - Малость принял для... красноречия. – Иван сел на табуретку.
 - Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел? – поднялась Нюра. – Ты што?
 - Хотел папаню твоего поучить... Как надо человеком быть.
 - Брось ты, Иван, – заговорил милиционер, – Ну, случилось несчастье, испугались оба...
- Кто же ждал, что так будет? Стихия.
- Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними...
 - Я же тебе бросил топор? Ты попросил, я бросил. Чего еще-то от меня требовалось?
 - Самую малость: чтоб ты человеком был, А ты – шкура. Учить я тебя все равно буду.
 - Учитель выискался! Сопля... Гол как сокол, пришел в дом на все на готовенькое да еще грозится. Да еще недовольный всем: водопроводов, видите ли, нету!
 - Да не в этом дело, Наум, – сказал милиционер, – При чем тут водопровод?
 - В деревне плохо!.. В городе лучше, – продолжал Наум. – А чево приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать против Советской власти?
 - От сука! – изумился Иван. И встал. Милиционер тоже встал.
 - Бросьте вы! Пошли, Иван...
 - Таких взбудителев-то знаешь куда девают? – не унимался Наум,
 - Знаю! – ответил Иван. – В прорубь головой... – И шагнул к тестю.
- Милиционер взял Ивана под руки и повел из избы. На улице остановились, закурили.
- Ну не паразит ли! – все изумлялся Иван. – И на меня же попер.
 - Да брось ты его!
 - Нет, отметелить я его должен.
 - Ну и заработаешь! Из-за дерьма.
 - Куда ты меня счас?!
 - Пойдем, переночуешь у нас... Остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся.
 - Нет, это же... што ж это за человек?
 - Нельзя, Иван, нельзя: кулаками ничего не докажешь.
- Пошли по улице по направлению к сельской кутузке,
- Там-то не мог? – спросил вдруг милиционер.
 - Не догнал! – с досадой сказал Иван. – Не мог догнать.
 - Ну вот... Теперь – все, теперь нельзя.
 - Коня жалко.
 - Да...
- Замолчали. Долго шли молча.
- Слушай: отпусти ты меня. – Иван остановился. – Ну чего я в воскресенье там буду?!
- Не трону я его.
- Да нет, пойдем. А то потом не оберешься... Тебя жалеючи, говорю. Пойдем счас в шахматшки сыграем... Играешь в шахматы?
- Иван сплюнул на снег окурочек и полез в карман за другой папироской.
- Играю.

Земляки

Ночью перепал дождь. Погремело вдали... А утро встряхнулось, выгнало из туманов светило; заструилось в трепетной мокрой листве текучее серебро. Туманы, накопившиеся в низинах, нехотя покидали землю, поднимались кверху.

Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел.

И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!

Шагал по мокрой дороге седой старик. Шагал покосить травы коровенке. Деревня осталась позади за буграми. Место, куда направлялся он, называлось кучугуры. Это такая огромная всхолмленная долина – предгорье. Выйдешь на следующий бугор – видно всю долину. А долину с трех сторон обступили молчаливые горы. Вольный зеленый край. Здесь издавна были покосы.

На "лбах" и "гривах" травы – коню по брюхо, Внизу – согры, там прохладно, в чаще пахнет прелым. Там бьют из земли, из ржаной, жирной, светлые студеные ключи. И вкусна та вода! Тянет посидеть там; сумрачно и зябко, и грустно почему-то, и одиноко. Конечно, есть люди, которым не все равно: есть ты или нет.. Но ведь... что же? Тут сам не поймешь: зачем дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать?.. Ведь чего и жалко-то: прошел мимо – торопился, не глядел.

А выйдешь на свет – и уж жалко своей же грусти, кажется, вот только вошло в душу что-то предрассветно-тихое, нежное; но возрадуешься, понесешь, чтобы и впредь тоже радоваться, и – нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться,

Выше поднималось солнце. Туманы поднялись и рассеялись. Легко парила земля, Испарина не застила свет, она как будто отнимала его от земли и тоже уносила вверх.

Листья на березах в околках пообсохли, но еще берегли умытую молодую нежность – жарко блестели. Огромную тишину утра тонко просвистывали невидимые птицы.

Все теплей становится. Тепло стекает с косогоров в волглые еще долины; земля одуряюще пахнет обилием зеленых своих сил.

Старик прибавил шаг. Но не так, чтобы уже в хотьбе устать. Сил оставалось мало, приходится жалеть,

Он ходил, ездил по этой дороге много – всю жизнь, Знал каждый поворот ее, знал, где приотпустить коня, а где придержать, чтобы и он тоже в охотку с утра не растратился, а потом работал бы вполсилы. Теперь коня не было. Он помнил всех своих коней, какие у него перебивали за жизнь, мог бы рассказать, если бы кому-нибудь захотелось слушать, про характер и привычки каждого, Тихонько болела душа, когда он вспоминал своих коней. Особенно жалко последнего: он не продал его, не обменял, не украли его цыгане – он издох под хозяином.

Было это в тридцать третьем году. Старик (тогда еще не старик, а справный мужик Анисим Квасов, Анисимка, звали его) был уже в колхозе, работал объездным на полях. Случился тогда большой голод. Ели лебеду, варили крапиву, травились зимовальным зерном, которое подметали вениками на токах. Ждали нового урожая; надо было еще прожить лето. Вся надежда на коров: молоком отпаивали опухших детей.

И вот как-то, в покос тоже, пастух деревенский, слабый мужичонка, совсем ослаб, гонясь за коровами, упал без сознания. Сколько он там пролежал, бог его знает, говорил потом – долго. Коровы тем временем зашли на клевер... Поздно вечером пригнал он их в деревню, раздувшихся, закричал первым встречным: "Спасайте, они клевера обожрались!" Что тут началось!.. Бабы завыли, мужики всполошились, схватили бичи и стали гонять коров по улицам. Беда пришла, стон стоял в деревне. Коровы падали, люди тоже задыхались, тоже падали. У Анисима был конь (когда Анисима определили объездным, ему дали из колхоза бывшего его собственного мерина Мишку); Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров. Всю ночь вываживали коров. К утру Мишка захрипел под Анисимом и пал на передние ноги. Сколько ни бился Анисим, мерин не вернулся к жизни. Анисим плакал, убивался над конем... Его обвинили во вредительстве, и он сидел месяца полтора в районной каталажке. Потом ничего, обошлось.

Вот наконец и делянка старика: пологая логовинка недалеко от дороги, внизу согра с ключом.

Солнце поднялось в ладонь уже; припоздал.

Наскоро перекусив малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, повжикал

камешком по жалю.

Нет милее работы – косьбы. И еще: старик любил косить один. Чего только не передумаешь за день!

Сочно, просвистывая, сечет коса; вздрагивает, никнет трава. Впереди шагах в трех подняла голову змея... И потекла в траве, поблескивая гибким омерзительным телом своим. Опять воспоминание: раз, парнишкой еще, ехал он на коне хорошей рысью. Внезапно, почуяв или увидев змею, конь прыгнул вбок. Анисимки как век не было на коне – упал. И прямо задницей на нее, на змею. Неделью потом поносило ("гвоздем летело").

Память все же выталкивает и выталкивает из глубины прожитой жизни светлые, милые сердцу далекие дни. Так в мутной, стоялой воде тихого озера бьют со дна чистые родники. Вот, змеи... Был тогда на деревне дед Куделька. Он говорил ребятишкам, что за каждую убитую змею – сорок грехов долой. А если змею бросить в огонь, то можно увидеть на брюхе ее ножки – много-много. И ребятня азартно снимала с себя грехи. И жгли змей, и правда, когда она прыгала в костре, на брюхе у нее что-то такое мелькало – белое, мелкое и много. Ребятишки орали: "Видишь! Вон они!" Все видели ножки.

До обеда, как трава совсем обсохла, старик косил. Солнце поджигало; на голову точно горячий блин положили.

– Слава богу! – сказал старик, глядя на выкошенную плешину: отхватил изрядно. На душе было радостно.

Он пошел в шалашик, который сделал себе загодя, когда приходил проведать травы. Теперь можно хорошо, не торопясь поесть.

В шалаше теплый резкий дух вялой травы. Звенит где-то крохотная пронзительная мушка; горячую тишину наполняет неутомимый, ровный, сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и скользят серебряные жаворонки-сверлышки,

Хорошо! Господи, как хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он знал: вот хорошо. Это когда нам плохо, мы думаем: "А где-то кому-то хорошо". А когда нам хорошо, мы не думаем: "А где-то кому-то плохо". Хорошо нам, и все.

Старик расстелил на траве стираную тряпочку, разложил огурцы, хлеб, батунок мытый... Пошел к ключу: там в воде стояла бутылка молока, накрепко закупоренная тряпчатой пробкой. Склонился к ручью, оперся руками в сырой податливый бережок, долго, без жадности пил. Видел, как по ржавому дну гоняются друг за другом крохотные светлые песчинки.

"Как живые", – подумал старик. С трудом поднялся, взял бутылку и пошел к шалашу. А там, у шалашика, сидят на пеньке старик в шляпе и с палочкой. Покуривает,

– Доброго здоровья, – приветствовал старик в шляпе. – Увидел – человек, присел отдохнуть. Возражений нет?

– Чево ж? – сказал Анисим. – Давай сюда, тут все же маленько не так жарит.

– Жарко, да. – Старик в шляпе вошел тоже в шалашик, сел на траву. Жарковато.

"В добрых штанах-то... зеленые будут", – подумал Анисим.

– Хошь, садись со мной? – пригласил он.

– Спасибо, я поел недавно. – Старик в шляпе внимательно смотрел на Анисима, так что тому даже не по себе стало. – Косишь?

– Надо. Нездешний, видно?

– Здешний.

Анисим глянул на гостя и ничего не сказал.

– Не похож?

– Пошто? Теперь всякие бывают. – Анисим захрумкал огурцом... И уловил взгляд гостя: тот смотрел на нехитрую крестьянскую снедь на тряпочке. "Хочет, наверно".

– Подсаживайся, – еще раз сказал он,

– Ешь, тебе еще полдня работать. Робить.

– Да хватит тут!

Городской старик снял шляпу, обнаружив блестящую лысину, придвинулся, взял

огурец, отломил хлеба.

– У тебя газеты нету? – спросил Анисим.

– Зачем? – удивился гость.

– Иззеленишь штаны-то. Штаны-то добрые.

– А-а... Да шут с ними. Ах, огурцы!..

– Што?

– Объеденье!

– Здешний, говоришь... Откуда?

– Тут, близко...

Не верилось Анисиму, что гость из этих мест – не похоже действительно.

– Сейчас-то я не здесь живу. Родом отсюда.

– А-а, Погостить?

– Побывать надо на родине... Помирать скоро. Ты из какой деревни-то?

– Лебяжье. Вот по этой дороге...

– Один со старухой живешь?

– Ага.

– Дети-то есть?

– Есть. Трое. Да двоих на войне убило.

– Где эти трое-то? В городе?

– Один в городе, Колька. А девахи замужем... Одна в Чебурлаке, за бригадиром колхозным, другая – та подальше.– Не сказал, что другая замужем не за русским.– Была Нинка-то по весне... Ребятишки большие уж.

– А Колька-то в каком городе?

– Да он – и в городе, и не в городе: работа у ево какая-то непутевая, вечно ездит: железо ищут,

– А какой город-то?

– В Ленинграде. Пишет нам, деньги присылает... Так-то хорошо живет. Хочет тоже приехать, да все не выберется. Может, приедет.

Городской старик отпил немного молока, вытер платком губы.

– Спасибо. Хорошо поел.

– Не за што.

– Косить пойдешь?

– Нет, обожду маленько. Пусть свалится маленько.

– Колька-то с какого года? – спросил еще гость.

– С двадцатого.– Тут только Анисим подумал: "А чего это он выспрашивает-то все?"

Посмотрел на гостя.

Тот невесело как-то, но и не так чтобы уж совсем печально усмехнулся.

– Вот так, земляк, – сказал.

"Чудной какой-то, – подумал Анисим.– Старый – чудить-то".

– Здоровьем-то как? – все пытал городской.

– Бог милует пока... Голова болит. У нас полдеревни головами маются, молодые даже.

– Из родных-то есть кто-нибудь? Братья, сестры...

– Нет, давно уж...

– Умерли?

– Сестры умерли, брат ишо с той войны не пришел.

– Погиб?

– Знамо, Пошто с войны не приходят?

Городской закурил. Синяя слоистая струйка дыма потянулась к выходу. Здесь, в шалаше, в зеленоватой тени, она была отчетливо видна, а на светлой воле сразу куда-то девалась, хоть ветерка – ни малого дуновения – не было. Звенели кузнечики; посвистывали, шныряя в кустах, птахи; роняли на теплую грудь земли свои нескончаемые трели хохлатые умельцы.

По высокой травинке у входа в шалаш взбиралась вверх божья коровка. Лезла упорно, бесстрашно... Старики загляделись на нее. Коровка долезла до самого верха, покачалась на макушке, расправила крылышки и полетела как-то боком над травами,

– Вот и прожили мы свою жизнь, – негромко сказал городской старик. Анисим вздрогнул: до странного показалась знакомой эта фраза. Не фраза сама, а то, как она была сказана: так говорил отец, когда задумывался, с еле уловимой усмешкой, с легким удивлением. Дальше он еще сказал бы: "Мать твою так-то", Ласково.

– Не грустно, земляк?

– Грусти не грусти – што толку?

– Што-то должно помогать человеку в такое время?

– У тебя болит, што ль, чего?

– Душа. Немного. Жалко... не нажился, не устал. Не готов, так сказать.

– Хэх!.. Да разве ж когда наживеся? Кому охота в ее, матушку, ложиться.

– Есть же самоубийцы...

– Это хворые. Бывает: надорвется человек, с виду вроде ничего ишо, а снутри не жилец.

Пристал.

– И не додумал чего-то... А сам понимаю, глупо: что отпущено было, давно все додумал. – Городской помолчал. – Жалко покоя вот этого... Суетился много. Но место надо уступать. А?

– Надо. Хэх!.. Надо.

– А так бы и пристроился где-нибудь, чтоб и забыли про тебя, и так бы лет двести! А? – Старик засмеялся весело. Что-то опять до беспокойства знакомое проскользнуло в нем – в смехе. – Чтоб так и осталось все. А?

– Надоест, поди.

– Да вот все никак не надоест!

– А ты заранее не думай про ее – не будешь страшиться. А придет – ну придет...

Сколько там похворает! В неделю люди сворачиваются,

– Да.

– Ты вот вперед загадываешь, а я беспречь назад оглядываюсь – тоже плохо.

Расстройство одно.

– Вспоминаешь?

– Но.

– Это хорошо.

– Хорошо, а все душу тревожишь. Зачем?

– Нет, это хорошо. Что же вспоминается? Детство?

– Больше – детство.

– Расскажи чего-нибудь! Хулиганили?

– Брат у меня был, Гринька, – тот прокуда был. – Анисим улыбнулся, вспомнив. – Откуда чево бралось!.. И на войне-то, наверно, вперед других выскочил...

– Что же он вытворял? – живо заинтересовался городской старик. Расскажи-ка... Пожалуйста, пока отдыхаешь.

– Хэх!.. – Анисим покачал головой, долго молчал. – Шельма был... Один раз поймал нас у себя в огороде сосед наш, Егор Чалышев, ну, выпорол. За дело, конечно: не пакости. Арбузишки-то зеленые ишо, мы их больше портили, чем ели. Ночью-то не видно: об коленку ево – куснешь, зеленый – в сторону. Да. Выпорол с сердцем. Потом ишо отец добавил. Гриньку злость взяла. И чево придумал: взял пузырь свиначий – свиным тогда как раз резали, – растер ево в золе... Знаешь, как пузыри-то делают?

– Знаю.

– Вот. Высушил, надул, нарисовал на ем морду страшную... – Анисим засмеялся. – Где он такую харю видал?.. Ну, дождались мы ночи, подкралась тихонько к Егору на крыльцо, привязали за веревочку к верхнему косяку пузырь тот... Утром Егор открыл дверь-то – и на улицу выходит, – а ему прям в лицо харя-то эта глянула... Мужик чуть в штаны не

наворотил. Захлопнул дверь, да в избу. Да давай в трубу орать: "Караул! У меня черт на крыльце!"

Городской старик громко захохотал. До слез досмеялся...

– Трухнул мужичок. А? Ха-ха!..

– Да, так Егора потом и звали: "Егорка, черт на крыльце".

А раз-мы уж побольше были-на покосе тоже... Миколай Рогодин-хитрый был мужик, охотник до чужого – и говорит вечером: "Гринька, – говорит, – подседлай какого-нибудь коня, хошь моева, дуй в деревню, нашибай кур у кого-нибудь. Курятинки охота". Гринька недолго думая подседлал коня – и в деревню. Через недолго время привозит пяток кур с открученными головами. Мы все радешеньки. Заварили их туг же... Ну и умели в охотку. А Миколай ел да прихваливал: молодец, мол, Гринька! А Гринька ему: "Ешь, дядя Миколай! Ешь, как своих".

Оба старика от души посмеялись. Городской закурил.

– Поматерился же он потом!.. А што сделаешь – сам послал.

– Да... – Городской старик вытер глаза. Задумался.

Долго молчали, думая каждый свое, А жизнь за шалашом все звенела, накалялась, все отрешеннее и непостижимее обнажала свою красу под солнцем.

– Ну, пойду с богом... – сказал Анисим. – Маленько вроде схлынуло.

– Жарко еще...

– Ничево.

– Корову-то обязательно надо держать?

– Как же?

Анисим взял литовку, подернул ее брусом... Поглядел на ряды кошенины-неплохо с утра помахал. А городской старик смотрел на него... Внимательно. Грустно.

– Ну, пойду, – еще раз сказал Анисим.

– Ну, давай, – сказал городской. – Ну и... прощай, – Посмотрел еще раз в самые глаза Анисиму, ничего больше не сказал, пожал крепко руку и скоро пошел в гору, к дороге. Вышел к дороге, оглянулся, постоял и пошел. И опять пропал за поворотом.

Старик косил допоздна.

Потом пошел домой.

Дома старуха с нетерпением – видно было – ждала его.

– К нам какой-то человек приезжал!.. – сказала она, едва старик показался в воротчиках. – На длинной автонобиле. Тебя спрашивал. Где, говорит, старик твой? Анисим сел на порожек, опустил на землю узелок свой...

– В шляпе? Старый такой...

– В шляпе. В кустюме такой... Как учитель.

Старик долго молчал, глядя в землю, себе под ноги. Теперь-то вот и вспомнилась та странная схожесть, что удивила давеча днем. Теперь-то она и вспомнилась! Только... Неужели же?!

– Не Гринька ли был-то? Ты ничево не заметила?

– Господь с тобой!.. С ума спятил. С тово света, што ли?

С бабой лучше не говорить про всякие догадки души – не поймет. Ей, дуре, пока она молодая, неси не стыдись самые дурацкие слова – верит; старой – скажи попробуй про самую свою нечаянную думу – сам моментально дураком станешь.

– Уехал он?

– Уехал. Это после обеда пошла...

"Неужто Гринька? Неужто он был?"

Всю ночь старик не сомкнул глаз. Думал. К утру решил: нет, похожий. Мало ли похожих! Да и что бы ему не признаться? Может, душу не хотел зазря беречь? Он смолodu чудной был...

"Неужто Гринька?"

Через неделю старикам пришла телеграмма:

"Квасову Анисиму Степановичу.
Ваш брат Григорий Степанович скончался двенадцатого. Просил передать. Семья Квасова".
Брат был. Гринька.

Жена мужа в Париж провожала

Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей...

При игре Колька, смешно отключив зад, пританцовывает.

Тара-рам, тара-рам, тара та-та-ра... рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та...

Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

А сама потихоньку шептала:
«Унеси тебя черт поскорей!»
Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра...

Колька – обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках, день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

– Коль, цыганочку!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбочив.

– Валю-ша, – зовет он, подняв голову. – Брось-ка мне штиблеты – цыганочку товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос – "потирольски", чем потешает публику.

– Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

– Я те сейчас отреагирую – кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя... Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него непохоже, и никто так не думает – просто дурачатся парень, думают.

К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики и парни.

– Какой размер, Коля?

– Фиер цванцихь – сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет... Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным, несколько даже торжественным... Трехрядка

прикипает к рукам, в меру помогает цыганочке, где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки – каблучки, каблучки – носочки...

Опять взвывает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы – Валя смотрит на своего "шута". Она тоже серьезна. Она тоже в плену исступленной, злой цыганочки. Три года назад этой самой цыганочкой Колька "обаял" гордую Валю, больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк Колька с Валюшей самым идиотским способом – заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры... Сразу несколько солдатских сердец взволновалось – Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу – Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией – много "разных слов". Валя ответила... Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня – смотреть Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери,

Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая, беленькая... Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща – родней – купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде – сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот чистыми. Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома – шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

– У нас в деревне и то бабы не такие жадные...

– Заткнись со своей деревней, – посоветовала Валя. – Ехай туда, кому ты здесь нужен!

"Ну и влип... – терзался изумленный Колька. – Как влип!"

Он был парень не промах, хоть и "деревня", сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых... И в-третьих, и в-четвертых – все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы – сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале, – таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке и пел кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма,
Что тает вдруг в сиянье дня;
Но вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кильке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было выше сил, будь они хоть трижды сибирские – "крепкие, способные вынести много. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина, Валя приняла ее вежливо, но мать все

равно боялась ее, лишней раз боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька искажился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

– Мам, ты че это?

– Че?

– Да какая-то... внучку на руки даже не взяла.

– Да боюсь я, сынок, че-нибудь не так сделаю.

– Ну, ты уж какая-то...

– Да ниче, че ты? Посмотрела вот – и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те, господи! И живи. Она бабочка-то ниче, с карахтером, правда, но такая-то лучше, чем размазня кака-нибудь. Хозяйка. Живите с богом, Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное:

– Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как... это... Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла... Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжело было толковать с ними.

– Ты смотри, смотри-и, парень! – говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу. – Ты смотри-и!.. Ты – за рукоприкладство-то – в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее растили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета...

– Что же вы сплеховали? Надо было хватать первого попавшегося и в загс – инженера-то. Или они хитрей вас оказались? Удовольствие получили – и в кусты? Как же вы так лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

– Кретин! Сволочь!

– А вот мы сейчас милицию! А вот мы сейчас милицию вызовем!..

– Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

– Голодранец поганый!

– Кретин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

– Если не прекратите орать, я вас всех, падлы... Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

– Куда это? – спрашивал Колька, прищипывая боль зубами.

– К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

– Ну как заказчики? – интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся – не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

– Дурачок, – спокойно говорила Валя. – Не думай – не из таких.

– Вы не из таких, – соглашался Колька, – вы из таковых.

Бывало, что по воскресеньям они втроем – с дочкой – ездили куда-нибудь. Раза три ездили на ВДНХ, Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери... Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: "Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!"

Смотрели на выставке всякую всячину, Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками... Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет, – это не жизнь, это что-то очень нелепое, постыдное, мерзкое... Руки

отвыкли от работы, душа высыхает – бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре "раздавят" в подвале (к грузчикам еще пристегнулись продавцы – мясники, здоровые лбы, беззаботные, как колуны). Что же дальше? Дальше – плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное "дальше", он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке... Думал на работе, думал дома, думал днем, думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить,

"Да что же?! Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?"

Люди давно разошлись по домам... А Колька сидит, тихонько играет – подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки.. Он знал, если он придет один, мать станет плакать: это большой грех – оставить дите родное, станет просить вернуться, станет говорить... О господи! Что делать? Окно на третьем этаже открывается.

– Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин! Тебя же сейчас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

– Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

– Закрой поддувало. И окно закрой – она будет спать.

– Кретин!

– Падла!

Окно закрывается. Но через минуту снова распаивается.

– Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: "Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектаров земли". Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об одиночной жизни мечтаете с мамашей своей... Не нравится вам в колхозе-то? Заразы, Мещаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки, и дед, и вся родня – бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку... Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа... Влетел в квартиру, Жена Валя, зачуйв недоброе, схватила дочь на руки.

– Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

– П-положь ребенка, – сказал он, заикаясь.

– Только тронь!..

– Все равно я тебя убью сегодня. – Колька сам подивился – будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно. – Дождалась ты своей участи... Не хотела жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик... Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды... Закрыв кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

– Пусть течет пока, – сказал вслух.

Вошел в комнату – Вали не было. Зашел в другую комнату – и там нет.

– Убежала. – Вышел на лестничную площадку, постоял... Вернулся в квартиру. – Все правильно...

Положил топорик на место... Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом... Вылил водку в раковину.

– Не обрадуютесь, гады.

Сел... Но тотчас встал – показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

– Так? – спросил себя Колька. – Значит, жена мужа в Париж провожала? – Закрыв окно,

закрыв форточку. Закрыв дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: "Доченька, папа уехал в командировку".

Положил газетку на видное место... И включил газ, обе горелки...

Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

– Скотина! И газ не... – Но тут поняла Валя. И заорала.

Теща схватилась за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину.

У Кольки не успели еще высохнуть слезы... И чубарик его русский был смят и свалился на бочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки... И положил тело опять в прежнее положение.

– Надо... это... милицию.

Алеша Бесконвойный

Его звали-то не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделю он был безотказный работник, больше того – старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником – кочегарил на ферме, случалось-ночное дело -принимал, телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался, Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша "сроду такой" – в субботу и воскресенье не работает– Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай – как об стенку горох. Хлопает глазами... "Ну, понял, Алеша?" – спросят. "Чего?" – "Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?" – "Чего?" – "Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?" – "Нет. Между прочим, насчет дурачка – я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе – в лоб: считается – взаимность". Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз, по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекурком... Но все равно это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор – колоть дрова.

У него была своя наука – как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые: они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная – зябко было, сыро, ветрено – конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик – постукало мягко, дробно в стекла окон и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело – ветер налачился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал – снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

– Ишь ты... какой,– говорил он ласково чурбаку.– Атаман какой... Ставил этого "атамана" на широкий пень и тыкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них – свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки, Еще потом будет момент – разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескаться из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

– Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

– И не плескает ведь!

– Да куда так несется-то?

– Ну, баню опять топят...

– Да рано же еще!

– Вот весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую от купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню, И хорошо! Она стояла на полке, с краю, места много не занимала – не мешала париться,– а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходил на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута – посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане – продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка, долота, стамески... Это все на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавился уже запахом березовых поленьев – тонким, еле уловимым – это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да и подмывает радость – подумает: "Сча-ас". Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене – мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить, Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться, Напарится не напарится – угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой, и думает, это баня, Хэх!..

Алеша бросил окурочок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два – так, одно – так, поперек, а потом сверху. Но там – в той амбразуре-то, которая образуется-то,– там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливаться,– там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он еще посерединке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал – загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент – когда разгорается, Ах, славный момент!

Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, все становится больше, все надежней. Алеша всегда много

думал, глядя на огонь. Например: "Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!" Или еще он сделал открытие: человек, помирая, в конце в самом, – так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить. Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом. Пока он занимался баней, ребяташки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь – Алеша слышал – то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет – никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала. Когда пили чай, поговорили с женой.

– Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет, – сказала жена.

– И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то, на сырую землю.

– Затопил?

– Затопил.

– Кузьмовна заходила... Денег занять.

– Ну? Дала?

– Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

– Ну и ладно. – Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег – все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: "Бесконвойный, Бесконвойный". Глупые. – Сколько попросила-то?

– Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

– Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать – не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! "Что мне, душу свою на куски порезать?!" – кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеша, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: "Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!" Дура жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъялдыкнула: "Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?" Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь, Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: "Смотри... а то не в роду ли это у их". И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню. А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно – огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и колени достаёт жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в

фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное – без слов, голосом, Алеша слазал на полку бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап – поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал – надо долить. Есть, но... чтоб уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег в займы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел – тошно. И удивительно на людей – сидят смотрят! Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно – ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел – высоко-высоко – и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине – маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь, что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие – ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо, – вспоминал он один момент в своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя – через всю почти страну. Но ехали звонко – так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

– Слушай, солдат, возьми меня – вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одетая хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит – вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит смотрит странно... У Алеша так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона уж и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:

– Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

– А кто дома-то? – разлепил рот Алеша.

– Да никого, одна я.

– Ну, так я провожу, – сказал Алеша.

– А как же ты? – удивилась и обрадовалась женщина.

– Завтра другим эшелонам поеду... Мало их!

– Да, их тут каждый день едет... – согласилась она.

И они пошли к ней домой, Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила – радость не радость – жар, и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжело, будто прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука – мяконецкая, теплая под шершавеньким крепдешинном. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша – маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама – просто,

доверчиво – взяла его под руку и пошла потом, прикасаясь боком своим мяконьким к нему... И тепло это – под рукой ее – помнил же. Да... Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков поглупей. Но вот штука-то – спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдели сапоги – все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе. Вот ту Алю крепдешинovou и вспоминал. Алеша, когда оставался сам с собой, и усмеялся. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как. Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он – угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут – стены, полки, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап – такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал, славно! Алеша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню – нет, угарно. Алеша пошел в дом.

– Давай бельишко, – сказал жене, стараясь скрыть свою радость – она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезает из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеши, Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболелся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность, Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж – как пошли детишки.

– Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? – спросил Алеша.

– Не знаю. Да кончились – от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

– Много они картошки-то сдали?

– Веза два отвезли... Кулей двадцать.

– Огребут денег!

– Огребут, Все колют... Думаешь, у них на книжке нету?

– Как так нету! У Соловьевых да нету!

– Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

– Давай бумажные, пока еще не так ниже.

– На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас, в бане.

– Так... Ну ладно.

– У Кольки ангина опять.

– Зачем же в школу отпустила?

– Ну... – Таисья сама не знала, зачем отпустила. – Чего будет пропускать. И так-то учится через пень колоду.

– Да... – Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, – не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль.

И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвысились там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них – возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков – вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей – агрономов, учителей: нет зазнавителие человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни

была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

– Так... Ну ладно, – сказал Алеша. – Пойду.

И Алеша пошел в баню. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет. Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя – ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло – в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэх... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!..

– пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок – для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: "Вы не понимаете, что такое баня!" Они понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу ходил; в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь-вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая-до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра... – стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность – жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосыгаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша – от полноты и покоя – попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу -
Нет моего милого,

– спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани -
Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник – распаривать. Стал мыться... Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках,

плескался и мурлыкал себе:

Я сама иду дорогой,
Моя дума – стороной.
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке – плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо – сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке – просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться – подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше, Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой, И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет-придет, чей раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть – не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет – придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле – это вообще не праздник, не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и "не суетиться перед клиентом". Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: "Главное, не суетиться перед клиентом". Долго Алеша смеялся и думал: "Верно, суетимся много перед клиентом". Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом – чего же? Между прочим, куда радостнее бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота – это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает; плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какойнибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя неожиданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно лг"бит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он – любит. Стал стучаться покой в душе – стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку – первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полку. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из таза. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо-сперва почесать себя – походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник под каменкой, над паром, и поприкладывал его к бокам, под колени, к пояснице... Спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

– С легким паром! – сказал Борис.

– Ничего, – ответил Алеша, глядя перед собой. – Иди в баню-то.

– Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, – стал как-то переживать, что отец его скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

– Иди в баню-то, – сказал Алеша.

– Жарко там?

– Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу, в Коростылевых. Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком – достать белье сыну.

– Помнишь, – сказал Алеша, – Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

– Ну и что? – спросила она.

– Что?

– Стишок-то сочинила... К чему ты?

– Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

– Боровишку-то загнать надо да дать ему – я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

– Ладно,

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.